

АСЕЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 5 ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1963

НИКОЛАЙ

АСЕЕВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1910 · 1927

Р2
А-90

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО



ПУТЬ В ПОЭЗИЮ

Городок был совсем крохотный — всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недальний луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. «Можно, тетенька, напиться?» И тетенька останавливается, наклоняя коромысло.

Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла — это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города — почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блестел медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.

Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово — проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших «билетики» от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки — выжаренные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное — это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища... Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера — деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не утерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук.

Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больной, а я был предоставлен самому себе.

На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец — толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Ока-

зывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.

И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павлович. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который также увлекался своими воображаемыми героями.

Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали раным-рано, сели на крылечке дожидать первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крылечке, глядя через коноплянник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц — явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.

— Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!

— Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это — ложные солнца.

— Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!

— Ну ладно, гляди, гляди!

Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.

Учение кончилось, вернее оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции и в Университете, куда я поступил вольнослушателем, — не до вольного слушания. Мы стали собираться

в одном странном месте. Литератор Н. Шебуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших — Н. Огнева, Ю. Анисимова. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорил меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в «Обществе свободной эстетики», где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.

Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых «Чтецах-декламаторах». Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то время. Публика привыкала к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи А. К. Толстого, очень популярного тогда поэта русофила, обращавшегося к темам древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаль и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызывали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задевающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории сло-

ва. Немало сделало чтение Гоголевского «Тараса Бульбы», «Страшной мести», навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; да и Гоголь пленял пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: «Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и преумноженное чувство гражданского подвига.

Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет, — это ясно; но что же есть? Человек, — это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не преходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом. К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, — а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда — недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств — и вот рождались и слова и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», — все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными — зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостаче снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.

Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.

Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться
за линией черного года?

Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.
Герб серба сорвала слишком грубая
рука. Время Европу расшвырять!

Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили

в Гайсин, ближе к Австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «...Серая солдатская шинель выучила и образовала», — писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку...

Но первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось! И стихи о революции писались, как рапорт народу:

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Это был мой «Первомайский гимн» — гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:

Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!

И вот теперь народ стал действительно государем свой судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц

высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литере проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум — А. И. Герцен:

«Досадно, что я не пишу стихов, — говорил он в повести «Поврежденный» (1851), описывая природу средиземноморского побережья.— Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это было за заведование — вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» — была такая должность. Но взамен я получил право

печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик — подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР — Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А. В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, — и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в «Лефе», в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с ним города Союза — Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невозвратимо и неповторимо.

На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного. Я писал и печатался, пользовался вниманием читателей; буду еще писать и печататься, стараясь это внимание оправдать.

В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о Собрании моих сочинений.

Прошло более пятидесяти лет с того далекого времени, когда я напечатал первое свое стихотворение. За долгие

годы литературной работы написано было много хорошего и разного. Отбирая для данного пятитомника свои вещи, я решил включить в новое Собрание сочинений лишь те из них, которые кажутся мне наиболее значительными и будут чем-то интересны читателям. Это относится в первую очередь к тем моим произведениям в стихах и прозе, которые я помещал в своих собственных книгах. Часть стихов, рассказов, очерков, статей, рецензий, разбросанных по страницам многих периодических изданий — газет, журналов, сборников, — я собирать не решился, и пусть лучше это станет делом будущего.

Надо также отметить, что настоящее Собрание сочинений будет самым полным изданием моих произведений. Выходившие в последние годы однотомники и двухтомники были слишком «избранными» и не могли с достаточной широтой показать то, что было создано на протяжении более чем полувека. Последнее же четырехтомное Собрание стихотворений Гослитиздат выпустил в 1931—1932 годах, а за эти три десятилетия мне посчастливилось кое-что сделать.

Наряду с хорошо известными читателю стихотворениями и поэмами, в Собрание сочинений войдут забытые, давно не переиздававшиеся вещи, а также ряд неопубликованных, новых стихов. Кроме того, сюда включаются переводы из А. Мицкевича, Ю. Тувима, Я. Неруды, К. Эрбена, Ф. Гарсиа Лорки и некоторых других поэтов. Отдельный большой том составит моя проза: очерки, рассказы, повести, путевые записки, статьи о поэзии, воспоминания о Маяковском.

Я заново пересмотрел все свои произведения и некоторые из них отредактировал, причем в большинстве случаев вернулся к ранним текстам, которые после многочисленных переизданий претерпевали порой всевозможные превращения, иногда по настоянию слишком «строгих» редакторов, иногда по моей собственной вине, иногда в результате каких-либо типографских случайностей. Некоторые стихотворения и поэмы, ранее печатавшиеся в сокращении, я восстанавливаю в полном виде.

Четыре тома составит поэзия, и один — проза. Поэтические произведения в каждом из четырех томов будут занимать по два раздела: стихотворения, поэмы. Проза,

помещенная в пятом томе, займет три раздела: очерки, рассказы, повести; путевые записки; статьи, воспоминания. Все произведения, кроме поэм, объединены в книги или циклы. Книги, циклы и поэмы располагаются по разделам в порядке хронологии. Проставленные первоначально даты — сохраняются. Если они ранее отсутствовали, то произведение датируется по первой публикации.

Буду надеяться, что мое Собрание сочинений представит интерес как для любителей поэзии, так и для широких читательских кругов.

Москва
1957—1962 гг.

Николай Асеев

Стихотворения



ПЕСНЯ ТАРАКАНА ПИМРОМА

Сергею Боброву

Надев зеленую ермолку
и шубку белую песца,
я посещаю втихомолку
покои сонного дворца.
Стою неслышим и неведом
за изголовьями у вас,
равно — и счастию и бедам
распределяя день и час.

Вам не избегнуть этой власти,
я не таков, я не таков!
Вмиг расколюсь один на части,
стуча в двенадцать каблуков...
И даже, — этого ль вам мало? —
не утаю, не утаю, —
ее величество плясала
вчера под песенку мою!

1911

ВНЕЗАПЬЕ

Валерию Брюсову

Бился пульс нараставшего горя,
но шумела лавина годин...
Смеясь, в наклоненном проборе
встречал серебро господин.
В изломы размеренных улиц,
нараставших, падавших ниц,
летел он, грозя и сутулясь,
миллионами сумрачных лиц.
Опахнул эти души старинный,
незабытый, веселый недуг —
как из свéркали вышел витринной
оглянувшийся медленно друг.
Словно стал он грустнее, старше,
словно ведать, жить разлюбил, —
но в его укороченном марше
мнилась мощь неослабнувших жил.
И, коснувшись ногою панели,
он исчез в темноту, без следа.
Но дрожащие стекла звенели,
как пробитая ветром слюда.

1911

НОЧНОЙ ПОХОД

Вере Станевич

Горькие в сердце — миндалины...
  В черном небе зеркал
нежной звездою вспыхнул блистательный,
  взвитый тобой бокал.

Кинута, кинута жизни гостиница;
  за миллионы миль,
бешено вздрогнув, за полночь кинется
  воющий автомобиль.

Взрежет изглубья вздохами мерными,
  ветром исполнит путь;
ты капитаном станешь над верными:
  некому нас вернуть!

Губы твои во мрак зароются...
  Но — поворот руля, —
низкие горы вдали откроются:
  это — опять земля!

1912

ФОКУСНИК

М. И. Бобровой

Сверьте балансы и счеты!..
Четок ли черный гаммонд?
Плавно склоняешь плечо ты
          на горизонт.
Пляшут тени ротаций,
мерно ширяет метр,
числа твоих нотаций
          разносит ветр.
Вспыхнут слова зигзагами
в бледном блистанье линз...
Из голубой колымаги —
          выходит принц.
«Алло!» — и в траурных трубках
перводержавный зов.
Но не расслышать хрупких,
          ломающихся слов.
Тем, кто изломья звука
тайно поймет теперь, —
тень кавалера Глюка
          откроет дверь.

1912

* * *

Как вынесло утро тяжелые стрелы,
пронзившие плоть винограда безбольно, —

Душа моя снова назвать захотела
веселую землю — планетой престольной;

Мне велено ведать немудрой наукой,
что царское счастье — веселье поэта;

Да будет мое ликованье порукой
твоих горностаев — родная планета!

1911

СТАРИННОЕ

Юлиану Анисимову

В тихом поле звонница
точит малый звон...
Все меня сторонятся,
любил — только он.
Он детина ласковый,
тихой да простой, —
против слова царского
знался с сиротой.
Вышел царь на красное
широкое крыльцо:
потемнело властное
царское лицо;
и, махнувши белою
жестокой рукой,
пустил душу смелую
на вечный покой.

Не заплачу, не покаюсь, грозный царь,
схороню лихую петлю в алый ларь,
схороню под сердцем злобу да тоску,
перейду к реке по белому песку,
кину кольца, кину лалы да янтарь —
не ласкать меня, пресветлый государь!

1910

МОСКВЕ

Константину Локс

И ты передо мной взметнулась,
твердыня древная Кремля, —
железным гулом содрогнулась
твоя священная земля.
«Москва!» — и голос замирает,
и слова выспреннего нет,
взор опаленный озирает
следы величественных бед;
ты видела, моя столица,
у этих древних алтарей
цариц заплаканные лица
и лики темные царей;
и я из дальнего изгнанья,
где был и принят и любим,
пришел склонить воспоминанья
перед безмолвием твоим...
А ты несешь, как и когда-то,
над шумом суетных шагов
соборов сумрачное злато
и бармы тяжкие снегов.
И вижу — путь мой не случаен,
как грянет в ночь Иван: «Приййди!»
О, мать! — дитя твоих окраин
тоскует на твоей груди.

1911

ERITIS SICUT DEI![1]

Верьеры неба отсияли,
земные — тщетно плавят тьму;
но навсегда седые дали
открыты взору одному.

Когда луны кровавый кратер
зальет замолкших башен фронт,
восходит тяжко император
на обветшалый горизонт.

Нас не покинул до сих пор ты,
и не у тех безумных скал
твои железные ботфорты
державный холод приковал!

Устав ступать за величавый
гранитный помыслов порог,
здесь, у пределов крайней славы,
ты стал — замолк — и изнемог

И, оплывая хмурым оком
недовершенное тобой,
маячишь над судеб потоком
неописуемой судьбой.

1911

---

[1] Будете как боги! *(лат.)*

БЕЗУМНАЯ ПЕСНЯ

Рушится ночь за ночью.
Падай, безумье, падай!
Мы пленены воочью
грозной твоей усладой.

Только метнет прожектор
резкую ясь — и снова
темный уходит Гектор
от очага родного.

В небо бросайтесь, в небо,
грохотом сумрак взроем, —
с нами, кто смертным не был,
кто родился героем!

Там в золотом убранстве,
в мощи вечного пыла
плавает зоркий ястреб —
гонщик яростнокрылый.

Мы ж из-под вечных ярем,
из-под теснин окружных
разом в него ударим
воем тетив содружных.

1912

СТИХИ С КАРДАМОНОМ

Когда зажгут эти свечи
и дождь ударит о крышу,
какие скучные речи
опять я нынче услышу!

Я снова вспомню о мифах —
извечных спутниках славы,
о птицах-иероглифах,
о тиграх острова Явы.

Там злые пляшут москиты,
свивая пышные гнезда,
а мне — родные ракиты
холодные застят звезды.

И вас, золотая Джерси,
и вас, чьи очи так сини,
чьи к небу подъятые перси
похожи на апельсины.

Ах, сердце снова так радо
плениться гордою позой!
Тогда на сбор винограда
с кинжалом вы шли и с розой.

Как ваши легкие ноги,
касаясь жаркого лона,
приплясывали по дороге,
топча цветы кардамона!

Я вам подарил ожерелье,
таэли и алый гарус,
и вновь за безвестной целью
подъял зазвеневший парус.

Не вы ли на знойных плитах
зовете меня обратно,
что вновь на моих ланитах
горят поцелуев пятна?!

1911

БАШНЯ КОРОЛЕЙ

В далеком поле вечер,
а здесь и свет и боль...
О, где твой белый кречет,
покинутый король?!
Замолкнули забавы,
отпел ловитный рог,
не светят звезды славы
на бедственный порог,

И мантии богатой
державные цвета
и звонкий меч и латы
сменила нищета.
И видит вдаль бегущий
суровый мореход —
над королевской пущей,
над копьями ворот...

И вдруг, убавив шагу,
салютует с морей
приспущенному флагу
на башне королей.

1910

* * *

В лесу темноветвистом
у ясного ручья
об этом взоре чистом
задумывался я:
куда ему дорога
назначена у бога?

И лес шептался строже,
и пел звончей ручей:
«Тебе не знать дороже
простых ее очей».

В лесу темноветвистом
у ясного ручья
о сердце этом чистом
задумывался я:
куда ему дорога
назначена у бога?

И ветер, нежно вея,
тихонько шелестел:
«Нигде, нигде вернее —
тебе оно в удел».

Я шел по сонной ниве,
не сведав у ручья,
кто был из нас счастливей,
кому — судьбина чья.

Но шел я не печальпый,
узнав, припомнив вдруг
кристальный взор и дальний
приветный сердца стук.

Я знал, я знал — у бога, —
к тебе моя дорога!

1913

* * *

Закат онемелый трепещет,
и сбывшийся день беспокоен.
Там стрелы последние мещет
израненный воин.
Эфир опустелый недвижен
и внемлет безмолвью...
Там окна столпившихся хижин
покрыты кровью.
А ночь от восточного склона
недвижными машет крылами:
дыхание темного лона
над нами.

1913

* * *

Какие спокойные дремлют
мечты — в запредельном краю!
Весенние хлады объемлют
почившую душу мою.
Приходят на это кладбище,
звеня бубенцами, стада,
и птица в кустарнике свищет,
и в небе — пылает звезда.

Но сердце — не хочет возврата,
и сердцу — зачем этот лес:
единственна ты лишь, утрата
мечтой отошедших небес.

Какие суровые грани
поставил кругом небосвод!
Когда же, волнуясь, воспрянет
и ринется время вперед, —
и эти зеркальные дуги,
и давние все времена
поднимут почившие други
взыгравшею мощью зерна.

1913

* * *

З. Б.

Листья липовых скверов по-прежнему свежи,
и безмолвно опять бытие,
но закинуты в небо прозрачные мрежи,
в небе — бедное сердце мое.

Ах, бывалое небо яснее и ближе,
и бесценнее день ото дня!
Ты далеко в проклятом, безумном Париже
навсегда забываешь меня.

Значит, сердце напрасно сияло и билось,
значит, было давно суждено,
чтобы ты от меня далеко затворилась
в пансионе madame Robino?

Эти дни, они также останутся близки,
все, что будет, предстанет — как сон,
лишь на сердце моем, на глухом обелиске,
врежет числа давнишних времен.

1912

ТЕРЦИНЫ ДРУГУ

Борису Пастернаку

Мы пьем скорбей и горести вино
и у небес не требуем иного,
зане свежит и нудит нас оно.

Оратаи и сеятели слова,
мы отдыху не предаемся. Здесь
мы не имеем пристани и крова.

Но прошумит воскреснувшая весь,
слив голоса в зазеленевшем кличе,
и здесь она, бессмертная поднесь —

Вернувшаяся в долы Беатриче!
И радости смиренной и простой
мы слышим отзвуки в старинной притче.

Дерзай, поэт! Недолгой немотой
ответствуют небесные пространства.
Пей вешних трав целительный настой,

Да радостно твое пребудет пьянство.
Когда ж стихом взыграет вдруг оно —
стиху довлеет царское убранство.

Режь злых цепей томящее звено,
спадет, спадет гремучая окова!
Мы пьем скорбей и горести вино

И у небес не требуем иного.

1913

* * *

В сини четырехугольника
низкого окна
медленным зрачком невольника
ты отражена.
Только вечер тьмою стискивал
воды, луг и лес;
он всегда тебя отыскивал
на краю небес.
И тотчас небесной благостью
в полусонный склеп
ущедряла легкой радостью
цепи, воду, хлеб.
День пройдет, и вечер кончится,
смолкнет давний стук,
тихая сойдет помощница
в тесный земный круг.
В сини четырехугольника
низкого окна
мертвые зрачки невольника
напоит она.

1913

ФАНТАСМАГОРИЯ

Н. С. Гончаровой

Летаргией бульварного вальса
усыпленные лица подернув,
в электрическом небе качался
повернувшийся солнечный жернов;
покивали, грустя, манекены
головами на тайные стражи;
опрокинулись тучами стены,
звезды стали, стеная, в витражи;
над тоскующей каменной плотью,
простремглавив земное круженье,
магистралью на бесповоротье
облаками гремело забвенье;
под бичами крепчающей стужи
коченел бледный знак Фаренгейта,
и безумную песенку ту же
выводила полночная флейта.

1913

ЗОР 1914

КСЕНИИ МИХАЙЛОВНЕ СИНЯКОВОЙ

ЗАПЕВАЕТ

Что руки твои упали,
еще ничего не зная,
на осеребь леткой стали,
потеха моя удалая?

Не ты ль поднялась полками
повыморить город мором,
своими свела руками
к его железным заторам?

Устам миловаться сладко,
а сердцу жалеть невместно...
Плыви Колываныо, Златко,
земная моя невесто.

Поход твой поле полечит,
годов перевеяв тридцать...
Сорвет журавеля кречет
к твоей тугой рукавице.

Курись кустом над поляной,
крути железовье кресью,
пока жужжавой каляной
пойму тебя в понебесье.

1914

ЗВЕНЧАЛЬ

Тулумбасы, бей, бей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

Доломаны — быстрь, быстрь,
похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
переметим наново!

Чубовье раскрутим,
разовьем хоругвь путем,
а тугую сутемь
раньше света разметем!

То ли не утеха ли,
соловейко-солоду,
то ли не порада ли,
соловейко-солоду!

По грудям их ехали —
по живому золоту,
ехали, не падали
по глухому золоту!

Соловее, вей, вей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

1914

НАЧАЛО ЗОРА

Мечами просекают людские голоса тоскующее время, --
овсюду треск и блекоть, оскалы и озевы. Как уши мне
зажать
чтоб вывести из меры коснеющего тука воинственное
дремя,
врематые дружины сомкнуть окрай межины, грозить и
одружать?
Теки, токуя, туча! Ножи нагие, нежьте!
Кто преет, предкам предан, вперед приходит прежде.
Но нет, не кости дедов гора извергнет в дымах!
Помолвьями иными рудая свищет брага.
Гляди, как их комоней помолный вынес вымах,
земля горит и гнется от их шального шага.
Издревле мучит мочью окличье: «Мир орей!»
И ныне тужит туга семьей словобырей.

1914

ГРЕМЛЬ

Пламенный пляс скакуна,
проплескавшего плашенной лапой;
над душой — вышина,
верхоглавье весны светлошапой.

В этом тихом дождике —
ах, какая жалость! —
ехал на извозчике —
сердце разорвалось.

Не палят сияния
на Иван Великий;
просят подаяния
хитрые калики.

Точат песню слезную,
а из глоток — пламя,
движут силу грозную,
машут костылями.

«Пейте, пейте бесиво,
сучьи перебежки,
прокатайтесь весело
в чертовой тележке!

Напивайтесь допьяна
бешеною сытой,
а князьевы копья на
попадет упитый!»

Дни и ночи бегая,
не уйдешь от чуда...
Гей, лошадка пегая,
увози отсюда!

Двери глухо заперты,
пожелтели книги,
никогда на паперти
не звенят вериги.

Галстучек горошками
ветриво трепался,
поднимал над рожками,
поднимал три пальца.

Там над половодьями
холодела давечь,
пало под ободьями,
пало тело навзничь.

Над Иваном растет вышина,
то под небом, слезою омытым,
то огонь острогонь скакуна
из весны выбивает копытом.

1914

ТУНЬ

М. М. Уречиной

Ты в маске электрической
похаживаешь мимо,
а я — на Дон, на Дон, на Дон
зову тебя очима.

Не сонь моя, не тень моя,
не голос мой не звучен:
я горшими мученьями
во младости замучен.

И там рука, и там нога,
и день меледневеет,
а здесь — брожу, ищу врага,
что встретиться не смеет.

Пустынным палом похоти
перепалило роды,
а ты в милейном хохоте
залащиваешь годы.

На теле на порубанном
похаживает ворон,
и страшно нам и любо нам
сходиться взор со взором.

Не ведаю ни ветра я,
ни холода, ни зноя.
Прими, другиня щедрая,
безмечного героя.

Лежу-лежу, пою-пою,
и ночь моя короче.
Пойдем на Дон, на Дон, на Дон
свести на очи — очи.

1914

* * *

Дорогая царевна,
за печалой Лабою
поклонюсь тебе земно,
посмеюсь над тобою.

То не первая удаль
разминает нам плечи,
то твой батюшка-сударь
ударяет на вече.

За былую повагу,
накрестясь бердышами,
точит мертвую брагу
горстевыми ковшами.

За твою оборону,
за беду супостаты
поковал на корону
огневые сверкаты.

А ты вынесешь тяжесть,
а ты выстоишь прямо,
хмелем сумрачных бражеств
покачнутая мамо.

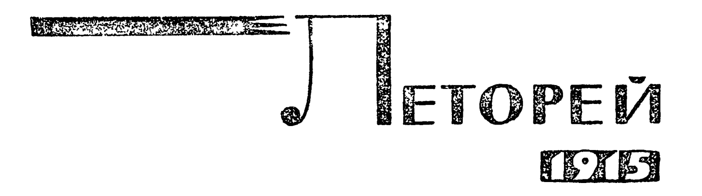
Да не ведает недруг,
что сбираются цапли,
что с грудей твоих щедрых
каплют новые капли.

1914

* * *

Не спасти худым коуям
стольный град.
Нынче ночью зацелусм
ваших лад.

1914



ТОРЖЕСТВЕННО

Разум изрублен. И
скомканы вечностью вежды...
Ты
не ответишь, Возлюбленный,
прежняя моя надеждо.

Но не изверуюсь, мыслями стиснутый
тесными,
нет, не изверуюсь, нет, не изверуюсь
Реже — но
буду стучать к Тебе, дикий, взъерошенный,
бешеный,
буду хулить Тебя, чтоб Ты откликнулся
песнями!

1915

А МЫ УБЕЖИМ!

Да опять, единственное трижды,
ты прекрасно, меткое лицо,
на откосе сердца человечья выжди,
похвались неведомой красой...

Дней перетасованные карты
лягут снова веерами вер.
Обратив ладонью легкий шар,
ты вздохнешь над северною ширью.

А когда твои апрели стихнут
крыльями снежин,
чтобы вечно не встречаться
ни друзьям, ни домочадцам,
задохнувши прежней прелести,
мы из мира убежим!

1915

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Буквы сигают, как блохи,
облепили беленькую страничку.
Ум, имеющий привычку,
притянул сухие крохи.

Странноприимный дом для ветра,
или гостиницы весны —
вот что должно рассыпать щедро
по рынкам выросшей страны.

1915

ОСАДА НЕБА

Богдану

Сердец отчаянная Троя
не размела времен пожар еще.
Не изгибайте в диком строе,
вперед, вперед, вперед, товарищи!

Эй, эй! Один склоняет веки,
хватая день губами мертвыми.
Взвивайте горы, грозы, реки —
он наш, он наш, он вечно горд вами!

Эй, эй! Он брат нам, брат нам, брат нам!
Его, его земель и прав длина...
Не будет здесь на ветре ратном
его дыханье окровавлено.

Увидите: на море это,
на сухопутье и на воздухе!
Такая ль воля — не допета,
пути ль не стало этой поступи?..

Гляди, гляди больней и зорче,
еще, еще на мир очуй!
Мы бьем, мы бьем по кольцам корчей,
идем, идем к тебе на выручу!

1915

ПОЖАР НА БАРЖЕ

(Пример материализации словообраза)

Мы издали увидели
вещающий тоску,
взлетевший со «Святителя»
раскутанный лоскут.

Матросов смытыми клеймами
играют влажные волн ямы.
«Великомученик Пантелеймон»
исписан синими молниями.

Стал еще святее, надев, ушкуй,
золотой косматый венок.
Ветер вертит огонь, как девушку,
у ее задыхаясь ног.

Последней водой лелеемый,
в половине четвертого,
падает «Пантелеймон»,
мачты медленно перевертывая,

1915

ВЫБИТО НА ВЕТРЕ!

> Совпадение наглядной (начертательной) доказательности корня со звучарью: звук Б, повторенный в корне ЛЫБ, дает зрительное впечатление вздымающихся над строками волн[1].
>
> *Пароход «Херсон».*
> *Апрель 1915 года*

Днепор! Кипящие пясти!
Черноморец! В темную бороду!
Впутал! И рвешь на части!
Гирло подставив городу!

Слово? — Нет, оплыву я
вечноглубые эти жалобы.
Зашиби лыбу большую,
белолобая глыба палубы.

Колыбелью улыбок выбит
сон о пенистом лепете...
Крик ваш хочется выпить. Ах!
С волн полетевшие лебеди.

Глухо закован в версты,
выдан воде и дивени.
вам подражает острый
клич человечья имени!

1915

---

[1] Не смешивать с ходячим понятием «инструментовки» стиха, радующей только актера. *(Прим. автора.)*

ГРАНИЦА

Гляжу с улыбкой раба:
одного за другим под знамена,
грозясь, несет велеба,
взывая вдаль поименно.

Какой человек в подъемнике
подбросился вверх, как мячик?..
Склонились внезапно домики
для взоров искусно зрячих.

Их много вдали игрушечных
свалилось, как черный козырь,
когда от дыханий пушечных
бежали по небу розы.

Светись о грядущей младости,
еще не живое племя!..
О, Время! Я рад, что *я* достиг
держать тебе ныне стремя.

Москва
Октябрь 1914 г.

ЗАПОВЕДНАЯ БУЩА

Триневластная твердыня
заневоленных сердец.
Некуда дремлюге ныне,
некуда от шумей деться:
мечутся они во стане,
ярествуют на груди.

А в те дни, смеясь, предстанет
везичь везей впереди!

Бунь на поляне Цветляны,
осень взбежала — олень, —
только твои не сгубляны
ясовки, яблочный день;
только твои не срубляны
белые корни небес...

Дивится делу Цветляны
детская доля живес.

Москва
1913

ГРОЗУВА

Как ты подымаешь железо,
так я забываю слова:
куда погрохочет с отвеса
глухая моя булава?

Как птицы, маячат присловья,
но мне полонянна — одна:
подымет посулы любовья
до давьего дневьего дна.

По крыльям железной жеравы
стекает поимчивый путь,
добычит лихие забавы
ее белометная грудь.

Ветров перемерявши шелком
беззвучий твоих глубину,
я вызвежжусь на небе желклом,
помолньями в мир полыхну —

Чтобы ты, о, печале Роксано,
вершала могучий потуст,
ничьею рукой не касанна,
ничьих не касаема уст.

Москва
1912

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

М. Ю. Лермонтов

Видючи — лукавые руки,
знаючи — туманов цвет,
помнючи — предсмертные муки,
слушайте звоночки монет.

Блеянье бедного разбега
(нет, он теперь не высок!) —
тлейте же, волосы Казбека,
счесанные ветром на висок.

Умыйница лиховеселья,
на дикие радость-сердца
зачем наступила газелья,
как воды смутила зерцать?

И медленна и желанна,
и хитростная — щедра,
со уст облетев, неустанно,
опять налетала чадра.

И тот, кто тлеет повержен
за скальной, опасной тропой,
винтовки промерянный стержень
оставил следить за тобой.

Пройди к повороту и скройся
из пыльных недель навсегда.

И, день мой персидский, утройся,
и пеной покройтесь, года!

1915

БРЕГОБЕГ

Зазмеившись, проплыла,
грозных вдаль отбросив триста,
в море — памяти скула —
в слезы взмыленная пристань.

Даже высушена соль,
даже самый ветер высох,
но морей немая боль
желтым свистом пляшет в лицах.

И в колени моряка
опрокинув берег плоский,
перережутся века
черным боком миноноски.

Уплывающим — привет,
остающимся — прощенье.
Нас — ни здесь, ни с теми нет,
мы — ведь вечности вращенье!

Евпатория
Июнь 1914 г.

У САМОГО СИНЕГО

Синеусое море хитро
улыбается лаковым глазом...
А я, умирая, вытру
из памяти разом
тебя и другую красавицу —
тонкорукую, робкую Тускорь,
пролетевшую ножкою узкой
от Путивля до старенькой Суджи
(засыпающих сказки детей)...

О, рассыпься изменою тут же,
инописец старинных бытей!

Как же забыть мне белые лапти? —
Ведь он раскинулся усами синими,
ведь полдню хочется крикнуть: «Грабьте
его жаркими ынями!»

Ведь — мгновению верен и крепок —
закипает, встает на дыбы,
и не мной же он выверчен — слепок
покоренной приморьем судьбы.

О, не с рук ли отряхивая бури,
ломая буйности рога,

под трубы Труворовы — Рюрик
взлетел на эти берега!

И — вновь закипевшие призраки бедствий
я вижу в опасном морском соседстве.

1915

МОРСКОЙ ШУМ

Две слабости: шпилек и килек...
А в горячее лето
море целит навылет
из зеленого пистолета.

Но, схвативши за руку ветер,
позабывшее все на свете,
в лицо ему мечет и мечет
лето — горячие речи.

О, море — как молодец! Весь он
встряхнул закипевшие кудри,
покрытый ударами песен
о гневом зазнавшемся утре.

Ты вся погружаешься в пену,
облизанная валами,
но черную похоти вену
мечтой рассеку пополам я.

И завтра, как пристани взмылят,
как валом привалится грудь:
навылет, навылет, навылет
меня расстрелять не забудь!

1915

И ПОСЛЕДНЕЕ МОРЮ

Когда затмилось солнце,
я лег на серый берег
и ел, скрипя зубами, тоскующий песок,
тебя запоминая
и за тебя не веря,
что может оборваться межмирный волосок.

Всползали любопытно по стенам смерти тени,
и лица укрывала седая кисея...
Я ощущал земли глухое холоденье,
но вдруг пустынный воздух вздохнул и просиял!

Ты чувствуешь в напеве скаканье и касанье?
То были волны, волны! Возникнут и замрут...
Я вспомнил о Тоскане, где царствовать Оксане.

И вот тебе на память навеки изумруд.

Крым
Август 1914 г.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА СТИХОВ 1916

«ОЙ КОНИН ДАН ОКЕЙН» [1]

ПОВЕЙ ВОЯНА

(Вступление)

Еще никто не стиснул брови
врагам за думой одолеть их,
когда, шумя стаканом крови,
шагнуло пьяное столетье.

Как старый лекарь ржавым шилом,
увидя знак болезни тяжкой,
он отворил засовы жилам
и бросил сгустки в неба чашку.

Была страна, как новый рой,
курилась жизнь, как свежий улей;
ребенок утренней порой
игрался с пролетавшей пулей.

Один поет любовь, любовь,
любовь во что бы то ни стало!
Другой — мундира голубого
сверкает свежестью кристалла.

---

[1] «Люблю твои глаза!» *(цыганск.)*

Но то — рассерженный грузин,
осиную скосивши талью,
на небо синее грозил,
светло отплевываясь сталью.

Но то — в пределы моряка,
знамена обрывая в пену,
вкатилась вольности река,
смывая гибель и измену.

Еще смертей двойных, тройных
всходил опары воздух сдобный,
а уж труба второй войны
запела жалобно и злобно.

Пускай тоски, и слез, и сна
не отряхнешь в крови и чаде:
мне в ноги брякнулась весна
и молит песен о пощаде.

1916

* * *

Еще! Исковерканный страхом,
колени молю исполина:
здесь все рассыпается прахом
и липкой сливается глиной!

Вот день: он прополз без тебя ведь,
упорный, весенний и гладкий.
Кого же мне песней забавить
и выдумать на ночь загадки?

А вечер, в шелках раздушенных
кокетлив, невинен и южен,
расцветши сквозь сотни душонок,
мне больше не мил и не нужен.

Притиснуть бы за руки небо,
опять наигравшее юность,
спросить бы: «Так боль эта — небыль?»
и — жизнью в лицо ему плюнуть!

Зажать голубые ладони,
чтоб выдавить снежную проседь,
чтоб в зимнем зашедшемся стоне
безумье услышать — и бросить!

А может, мне верить уж не с кем,
и мир — только страшная морда,
и только по песенкам детским
любить можно верно и твердо:

«У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?»

1916

* * *

Если ночь все тревоги вызвездит,
как платок полосатый сартовский,
проломаю сквозь вечер мартовский
Млечный Путь, наведенный известью.

Я пучком телеграфных проволок
от Арктура к Большой Медведице
исхлестать эти степи пробовал
и в длине их спин разувериться.

Но и там истлевает высь везде,
как платок полосатый сартовский,
но и там этот вечер мартовский
над тобой побледнел и вызвездил.

Если б даже не эту тысячу
обмотала ты верст у пояса, —
все равно от меня не скроешься,
я до ног твоих сердце высучу!

И когда бы любовь-притворщица
ни взметала тоски грозу мою,
кожа дней, почерневши, сморщится,
так прожжет она жизнь разумную.

Если мне умереть — ведь и ты со мной!
Если я — со зрачками мокрыми, —
ты горишь красотою писаной
на строке, прикушенной до крови.

1916

ВЕНГЕРСКАЯ ПЕСНЬ

Простоволосые ивы
бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Бьются Перун и Один,
в прасини захрипев.
Мы ж не имеем родин
чайкам сложить припев.

Так развевайся над прочими,
ветер, суровый утонченник,
ты, разрывающий клочьями
сотни любовей оконченных.

Но не умрут глаза —
мир ими видели дважды мы, —
крикнуть сумеют «назад!»
смерти приспешнику каждому.

Там, где увяли ивы,
где остывают ручьи,
чаек, кричащих «чьи вы?»,
мы обратим в ничьих.

1916

ОТКРОВЕНИЕ

Тот, кто перед тобой ник,
запевши твоей свирелью,
был такой же разбойник,
тебя обманувший смиреньем.

Из мочек рубины рвущий,
свой гнев теперь на него лью,
чтоб божьи холеные уши
рвануть огневою болью.

Пускай не один на свете,
но я — перед ним ведь нищий.
Я годы собрал из меди,
а он перечел их тыщи.

А! Если б узнать наверно,
хотя б в предсмертном хрипе,
как желты в Сити соверены, —
я море бы глоткой выпил.

А если его избранник
окажется среди прочих,
как из-под лохмотьев рваных,
мой нож заблестит из строчек.

И вот, оборвав смиренье,
кричу, что перед тобой ник
душистой робкой сиренью
тебя не узнавший разбойник.

1916

СКАЧКИ

Жизнь осыпется пачками
рублей; на осеннем свете
в небе, как флаг над скачками,
облако высинил ветер...

Разве ж не бог мне вас дал?
Что ж он, надевши время,
воздух вокруг загваздал
грязью призов и премий!

Он мне всю жизнь глаза ест,
дав в непосильный дар ту,
кто, как звонок на заезд,
с ним меня гонит к старту.

Я обгоню в вагоне,
скрыться рванусь под крышу,
грохот его погони
уши зажму и услышу.

Слышу его как в рупор,
спину сгибая круто,
рубль зажимая в руку
самоубийцы Брута.

1916

* * *

За отряд улетевших уток,
за сквозной поход облаков
мне хотелось отдать кому-то
золотые глаза веков...

Так сжимались поля, убегая,
словно осенью старые змеи,
так за синюю полу гая
ты схватилась, от дали немея,

Что мне стало совсем не страшно:
ведь какие слова ни выстрой —
все равно стоят в рукопашной
за тебя с пролетающей быстрью.

А крылами взмахнувших уток
мне прикрыла лишь осень очи,
но тебя и слепой — зову так,
что изорвано небо в клочья.

1916

ПРОКЛЯТИЕ МОСКВЕ

С улиц гастроли Люце
были какой-то небылью, —
казалось, Москвы на блюдце
один только я небо лью.

Нынче кончал скликать
в грязь церквей и бань его я:
что он стоит в века,
званье свое вызванивая?

Разве шагнуть с холмов
трудно и выйти нá поле,
если до губ полно
и слезы весь Кремль закапали?

Разве одной Москвой
желтой живем и ржавою?
Мы бы могли насквозь
небо пробить державою.

Разве Кремлю не стыд
руки скрестить великие?..
Ну, так долой кресты!
Наша теперь религия!

1916

* * *

Оттого ли, грустя у хруста,
у растущего остро стука
синева онемела пусто,
как в глазах сумасшедших — мука?

Раздушенный ли воздух слишком,
слишком скоро тоской растаяв,
как и я по кричащим книжкам
лишь походку твою оставил?

Или ветер, сквозной и зябкий,
надувающий болью уши,
как дворовые треплет тряпки,
по тебе свои мысли сушит?

Он, как я, этот южный рохля,
забивающий весны клином,
без тебя побледнел и проклят,
и туда — если пустишь — хлынем.

Забывай нас совсем или бросься
через звезды, сквозь злобный круг их,
чтоб разбить этих острий россыпь —
эту пригоршню дней безруких.

1916

* * *

Когда земное склонит лень,
выходит стенью тени лань,
с ветвей скользит, белея, лунь,
волну сердито взроет линь,

И чей-то стан колеблет стон,
то, может, пан, а может, пень...
Из тины тень, из сини сон,
пока на Дон не ляжет день.

А коса твоя — осени сень, —
ты звездам приходишься родственницей.

1916

* * *

Как желтые крылья иволги,
как стоны тяжелых выпей,
ты песню зажги и вымолви
и сердце тоскою выпей!

Ведь здесь — как подарок царский —
так светится солнце кротко нам,
а там — огневое, жаркое
шатром над тобой оботкано.

Всплыву на заревой дреме
по утренней синей пустыне,
и — нету мне мужества, кроме
того, что к тебе не остынет.

Но в гор голубой оправе
все дали вдруг станут тверстыми,
и нечему сна исправить,
обросшего злыми верстами.

У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?

1916

* * *

Царь играет на ветреных гуслях
у зверей молодого села;
на снега, засиневшие грустью,
упадали морщинки с чела.

Лев, лицом обращенный ко звездам,
унесенные пляской олени,
на него ополчившийся ростом
слон, лазури согнувший колени.

Все, сосущее солнечный разум,
поднимавшее силу и славу,
про тебя пролетевшим рассказом
приминает шуршащую траву.

Но, расправив над горечью зори
и закинув росы рукава,
царь ушел, унося их во взоре,
перестав за тебя ликовать.

1916

* * *

У подрисованных бровей,
у пляской блещущего тела,
на маем млеющей траве
душа прожить не захотела.

Захохотал холодный лес,
шатались ветви, выли дубы,
когда июньский день долез
и впился ей, немея, в губы.

Когда старейшины молчат,
тупых клыков лелея опыт, —
не вой ли маленьких волчат
снега залегшие растопит?

Ногой тяжелой шли века,
ушли миры любви и злобы,
и вот — в полете мотылька
ее узнает поступь кто бы?

Все песни желтых иволог
храни, храни ревниво, лог.

1916

ЧЕРЕЗ ГРОМ

Как соловей, расцеловавший воздух,
коснулись дни звенящие твои меня,
и я ищу в качающихся звездах
тебе узор красивейшего имени.

Я, может, сердцем дотла изолган:
вот повторяю слова — все те же,
но ты мне в уши ворвалась Волгой,
шумишь и машешь волною свежей.

Мой голос брошен с размаху в пропасть,
весь в черной пене качает берег,
срываю с сердца и ложь и робость,
твои повсюду сверкнули серьги.

По горло волны! Пропой еще, чем
тебя украсить, любовь и лебедь.
Я дней, закорчившихся от пощечин,
срываю нынче ответы в небе!

1916



КСЕНИИ МИХАЙЛОВНЕ СИНЯКОВОЙ

КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

1

Тобой очам не надивиться,
когда, закатами увит,
на богатырской рукавице
ты — кровью вычервленный щит!

И эти царственные грани,
подъемля древний голос свой,
ведут мой дух в былые брани,
в разгул утехи громовой.

И мнится: к плачущему сыну
склонясь, лукавый Калита
поет грядущую былину
необоримого щита.

2

И мнится: шумною ратью
поем и цедим вино;
и все — крестовые братья,
и все — стоим за одно.

Но вдруг — в разгаре пирушки,
в ответ на далекий рев —
протяжно завоют пушки
с зеленых твоих валов.

И пурпур башни оближет,
ты встанешь — странно светла:
в тот миг мне горло пронижет
замолкнувшая стрела.

1916

СОМНАМБУЛЫ

Вы, сокрытые зыбкою сетью
голубейного вымысла,
угрожаете смертью
тем, чье сердце безумие вынесло.

Ночь наводит понтоны
над глухими гранитами.
Наши очи, наши губы бессонны,
пребывают закрытыми.

Встали латники вала
кинуть в души нам вихри и замяти,
и оставшихся мало:
всюду други упали без памяти.

Рвите сумрака черные весны
голубыми кривыми гранатами,
но высокие вечные стены
покачнулись — и стали крылатыми.

Пусть же руки ослабли,
пусть и сердце тревоги не вынесло, —
не опустим шумящие сабли
пред огнем голубейного вымысла.

1916

СОРВАВШИЙСЯ С ЦЕПЕЙ

Борису Пастернаку

Мокроту черных верст отхаркав,
полей приветствуем изменой —
еще влетит впотьмах под Харьков,
шипя морской осенней пеной.

И вдруг глаза во сне намокнут,
колеса сдавит рельс узкий,
нагрянет утро, глянут окна
на осень в новом недоуздке.

А подойдешь к нему под Тулой
забыть ладонь на поршне жарком:
осунувшийся и сутулый
в тумане роется огарком.

Но — опылен морскою пеною,
сожрав просторы сна и лени,
внезапно засвистит он: «Генуя!» —
и в море влезет по колени.

18 июля 1915 г.

ГУДОШНАЯ

Титлы черные твои
разберу покорничьим,
ай люли, ай люли,
разберу покорничьим.

Духом, сверком, злоем взрой,
убери обрадову,
походи крутой игрой
по накату адову.

Опыланью пореки
радости и почести —
мразовитые руки
след на милом отчестве.

Огремли глухой посул
племени Баянова,
прослышаем нами гул
струньенника пьяного.

Титлы черные твои
киноварью теплятся,
ай люли, ай люли,
киноварью теплятся.

1914

ШЕПОТЬ

Братец Наян,
мало-помалу
выползем к валу
старых времян.

Видишь, стрекач
чертит раскосый.
Желтополосый
лук окарячь.

Гнутся холмы
с бурного скока.
Черное око
выцелим мы.

Братец Ивашко,
гнутень ослаб.
Конский охрап
тянется тяжко.

Млаты в ночи
нехристя очи.
Плат оболочий
мечет лучи.

Братец Наян,
молвлено слово —
племени злова
сном ты поян,

Я на межу
черные рати
мги наложу
трое печати.

Первою мгой
сердце убрато.
Мгою другой
станет утрата.

Отческий стан
третьей дымится...
Братец Наян,
что тебе снится?

1914

* * *

Стяни пояс туже,
стряхни кудри ниже,
повей, повей, друже,
к ставке княжей ближе —
золотой бородою.

Пождешь мила брата
к темным коновязям,
зовешь солнце-млада
величати князем —
золотой бородою.

Те светлые ноги
прославляти струнам,
что сборят дороги
с великим Перуном —
золотой бородою!

1916

* * *

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь, князь,
светлоумный, резвоногий,
нам его послали боги!

Ой, ясь, ясь, ясь!
Есть князь, князь, князь!
Как твой первый бег,
буди быстр весь век.

Как ты всех упрежал,
пред тобою кусты
под покровом тьмы
преклонялися,
а до нас добежал,
светлоликий ты, —
пред тобою мы
рассмеялися.

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь у нас,
светлоликий, резвоногий,
нам его послали боги!

1916

* * *

Перуне, Перуне,
Перуне могучий,
пусти наши стрелы
за черные тучи.

Чтоб к нам бы вернулись
певучие стрелы,
на каждую выдай
по лебеди белой.

Чтоб витязь бы ехал
по пяди от дому,
на каждой бы встретил
по туру гнедому.

Чтоб мчалися кони,
чтоб целились очи, —
похвалим Перуне
владетеля мочи.

1916

ПЛЯСКА

Под копыта казака
грянь, брань, гинь, вран,
киньтесь, брови, на закат, —
Ян, Ян, Ян, Ян!

Копья тлеют на западе
у вражьего лика,
размочалься, лапоть
железного лыка.

Закружи кунтуши,
горячее вейло,
из погибшей души
ясного Ягелло.

Закачался туман
не над булавою,
закачал наш пан
мертвой головою.

Перепутались дни,
раскатились числа,
кушаком отяни
души наши, Висла.

Времени двоякого
пыль дымит у Кракова,
в свисте сабель, в блеске пуль
пляшет круль, пляшет круль.

1916

ПЕСНЯ АНДРИЯ

Раскосое желтоволосое чучело
фыркало на меня, буркалы пучило.

Как стояли рыцари под Дубном,
ой, смерть!
Помолкали полковые трубы,
ой, смерть!
Заунывным ты дрожала бубном,
ой, смерть!
Отуманью занемляла губы,
смерть, смерть!

Не на двадцать весен сердце билось,
ой, смерть!
Не на двадцать ходуном ходило,
ой, смерть!
А и вот она, лихая хилость,
ой, смерть!
А и вот казацкая могила,
смерть, смерть!

Ты не дуй мне в очи, ветер божий,
ой, смерть!
Не гони в лицо истому злую,
ой, смерть!
Как паду под чучельной рогожей,
ой, смерть!
Мертвым усом землю поцелую,
смерть, смерть!

1914

БОЕВАЯ СУМРОВА

Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться
за линией черного года?

На город, заросший глухими криками,
за мановенье ока,
давно ли сами вы буйно кликали
конницу от востока?
Когда же тесно стало от говора,
вы пали на землю, кружась в падучей.
Горячим грохотом железных сковород
вас отрезвит ли военный случай?
В лавках, набитых тревогой кувырком,
аршином смерьте, что есть хвалить вам.
Не завтра ль, выданы смертельным сумеркам,
пойдете к песням вы и к молитвам?

Пусть же алое полымя
каждое сердце крестит,
слушайте там, за долами,
марш, зазвеневший вместе:

«Сердце ударами вен громи,
пусть зарастет тропа та,
где обескровлено венграми
белое тело Карпата».

Пядь за пядью все реже, реже там
встают, шатаясь, озябшие кости,
кричат: вы горы, зажатые скрежетом
зубов железных, — на нас не бросьте!
Кто закричал там: с ними, с ними,
с ними пусть будет каждое имя,
забитое веком! Пусть древние узы
карпатских горных пород
не оборвутся! Музыка
вперед, вперед!

«Сердце ударами вен громи,
пусть зарастет тропа та,
где обескровлено венграми
белое тело Карпата».

1915

НАД ГОПЛОЙ

Дул ли ветер не в лето теплый
или встала иная чара,
что опять над шипучей Гоплой
человечья лютая свара?

Валом валятся в небе тучи,
закипает дождь на осине, —
это хвост ударяет щучий,
пробиваясь сквозь шерешь синий;

Это вновь на пирушке Попель
у дому́, у домо̀ви Пяста,
на века загулял и пропил
дорогие княжие яства.

Восставай, Земовит, из нови
на свои веселые ноги,
оброни с величанной брови,
что тебе обещали боги.

1916

ОБ 1915 ГОДЕ

Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.
Герб серба сорвала слишком грубая
рука. Время Европу расшвырять!
Пусть рушатся колени зданий в огне,
пусть исказится за чертою черта
поношенной морды мира. Божьего гнева
я слышу голос у каждого рта.
Страны ли стали вам дòроги? Слышите,
больше их нет:
Дания — знак с колокольни, Бельгия —
выстрел с борта.
Матерой материк в истерике,
пули изрешетили его дочерей черепа,
скоро уже — о, вы не верите? —
вам, вам, вам выступать, —
только стальной Америки
выдвинется презрительная губа.

1916

ВЕСНА ВОЙНЫ

Захлестанная ветрами слепая лошадь —
весна
кричала от страха боли, туманов бельма
выкатывая.
Я вышел узнать, в чем дело, что улица стала
тесна,
зачем столпилась на площади, плача, толпа
плакатовая?

Но только ступил с подъезда — и сам
захлебнулся от слез:
ее уже подкосило, и только из грязи гривы
флаг
трепался над мостовой, и я его вам принес
и пару ног ее, трижды ветрами вывихлых.

Смотрите: здесь нет и помина
того, что прошло на земле,
чье солнце, как пламя камина,
потухло величия лет.

Где разом сарматские реки,
сгибаясь железной дугой,
открыли леди́ные веки
и берег явили нагой.

Где в свивах растерзанных линий
запела щемящая давка —
как тысячеструнных Румыний —
сердец, покачнувшихся навкось.

То — взора томителен промах,
то — сердце, отгрянувши, ухнет,
а сколько отпущено грома
в замок запираемой кухни!

Полков почерневшая копоть
обвешала горные тропы,
им любо, им бешено топать
в обмерзшие уши Европы.

И пали осенние травы
пугливого конского храпа,
где, ранена, Русская-Рава
качает разбитою лапой.

Вы, руки! Держать не можете.
Падите, мертвея, наземь,
пускай боевые лошади
пройдут за кубанским князем.

Вы, кони! В привычном ужасе
храпите, осев, на крупы.
Уже в придорожной лужице
купаются тихо трупы.

1916

* * *

Пусть новую вывесят выдумку
над стеклами новых наций,
как будто тому в крови дымку
не все равно где взорваться.

Все мысли безумием вымыты,
земля опоясалась в гул...
Теплейте, холодные климаты,
огнем разряжаемых дул.

Ведь пушки дышали розами,
клубами алых и чайных,
и в битву вступили озими,
пылая маков отчаяньем.

И остров Явы рассерженный
проплыл, сотрясаясь в громах,
и остов яви отверженной
за промахом делал промах.

Но чем заглушу, и смогу ли,
печаль одноногих людей,
из вьюг отлетающих в гуле,
прибитых к забытой беде?

Пусть там, на взлетевших Карпатах,
качаются снега цветы,

но — эти улыбки горбатых
из чертополоха свиты.

И к этому морю ледовитого мужества
путей не найдет ядовитое дружество.

1916

* * *

Я знаю: все плечи смело
ложатся в волны, как в простыни,
а ваше лицо из мела
горит и сыплется звездами.

Вас море держит в ладони,
с горячего сняв песка,
и кажется, вот утонет
изгиб золотистого виска...

Тогда разорвутся губы
от злой и холодной ругани,
и море пойдет на убыль
задом, как зверь испуганный.

И станет коситься глазом
в небо, за помощью, к третьему,
но брошу лопнувший разум
с размаха далеко вслед ему.

И буду плевать без страха
в лицо им дары и таинства
за то, что твоя рубаха
одна на песке останется.

1915

* * *

Ушла от меня, убежала,
не надо, не надо мне клятв!
У пчел обрываются жала,
когда их тревожат и злят.

Но эти стихи я начал,
чтоб только любить иначе,
и злобой своей не очень
по ним разгуляется осень.

1916

* * *

Приветствую тучи с Востока,
жестокого ветра любви,
я сжечь не умею восторга,
который мне душу обвил.

На мой ли прикликались вызов
иль слава вас слала сама,
летящие тучи Гафизов,
сошедших от счастья с ума?

Черны и обуглены видом
в персидском в палящем огне,
летите! Я счастья не выдам,
до плеч подаренного мне.

Привет вам, руки с Востока,
где солнце стоит, изомлев,
бледнеющее от восторга,
которого нет на земле.

1916

* * *

Нынче поезд ушел на Золочев,
ударяясь о рельсы. И вот —
я вставляю стихи на золоте
в опустевший времени рот.

Ты еще задрожишь и охнешь,
когда я, повернув твою челюсть,
поведу паровоз на Мохнач
сквозь колосьев сушеный шелест.

Я вижу этот визг и лязг,
с травою в шуме ставший об локоть,
где бога голубой глаз
глядит на мчащееся облако.

1916

* * *

Троица! Стройся, кленовая лень,
в явственный, праздничный, солнечный день.
Троица! Пляшут гневливо холмы
там, где истлели ковыль и калмык.

Великодушье — удел моряка,
великодушьем душа далека.
Ты, даровавший мне жаркую речь,
дай мне у ног и устать и прилечь!

Брошенной тростью, дорожной клюкой,
в камень звенящей под сильной рукой,
мы этими ветками ум обогнем,
следя за весенним взошедшим огнем.

1914

* * *

Я буду волком или шелком
на чьем-то теле незнакомом,
но без умолку, без умолку
возникнет память новым громом.

Рассыпься слабостью песка,
сплывись беспамятностью глины,
но станут красные калины
светиться заревом виска.

И мой язык, как лжи печать,
сгниет заржавевшим железом,
но станут иволги кричать,
печаль схвативши в клюв за лесом.

Они замрут, они замрут —
последний зубр умолк в стране так,
но вспыхнет новый изумруд
на где-то мчащихся планетах.

Будет тень моя беситься
дни вперед, как дни назад,
ведь у девушки-лисицы
вечно светятся глаза.

1916

* * *

Я пью здоровье стройных уст
страны мелькающих усмешек;
стакан весны высок и пуст,
его рукою сердца взвешу.

Скажу опять все то ж и той,
которой вы «да здравствуй» кличьте,
ведь жизнь из платы зажитой
мне все равно веселье вычтет.

Несу, несу иной закон чинам,
его на свежей я тропе пел;
пускай над каждым днем законченным
раздуют этой песни пепел...

Над селами облак высьте рать,
ведь скоро мирам станет дурно;
вам души в слезах надо выстирать
и вывесить сохнуть к Сатурну.

И новых наткав кумачей и камок
из крови ложащихся в бёрдо родов, —
я самую белую выбрал из самок
идущих на смерть городов.

Был лес зацветающих яблонь
для кожи веселой ограблен,
и кос над прозрачною кистью
легли виноградные листья.

Я все увидел не настоящим.
Где дали синий почтовый ящик,
туда своей жизни письмо понесу,
у туч переняв их грозовый галоп,
и ветер, ударив меня по лицу,
насмешливо свистнет: «Холоп».

1916

* * *

Осмейте
разговор о смерти,
пусть жизнь пройдет не по-моему
под глупое тявканье пушек,
и, неба зрачки наполнив помоями,
зальется дождем из лягушек.
Я знаю, как алчно б
вы бросились к этой стране,
где время убито, как вальдшнеп,
и дни все страшней и странней;
и эти стихи стали пачкой летучек,
которых прочесть никому не посметь;
где краской сырою ложится на тучах:
«Оксана — жизнь и Оксана — смерть!»
Чьи губы новы и чьи руки — не вы,
чьи косы длиннее и шире Невы,
как росы упали от туч до травы;
и ветер новых войск —
небывших дней толпа
ведет межмирный поиск,
где синий сбит колпак.
И эту русую росу,
и эту красную грозу
я первый звездам донесу.

1916

БОМБА 1921

СЕГОДНЯ

Сегодня — не гиль позабытую разную
о том, как кончался какой-то угодник,
нет! Новое чудо встречают и празднуют —
румяного века живое «сегодня».

Грузчик, поднявший смерти куль,
взбежавший по неба дрожащему трапу,
стоит в ореоле порхающих пуль,
святым протянув заскорузлую лапу.

Но мне ли томленьем ангельских скрипок
завешивать уши шумящего города? —
Сегодня раскрашенных ярко криков
сплошная сквозь толпы идет когорта.

Товарищ — Солнце! Выведи день,
играющий всеми мускулами,
чтоб в зеркале памяти — прежних дребедень
распалась осколками тусклыми.

Товарищ — Солнце! Высуши слез влагу,
чьей луже душа жадна.
Виват! Огромному красному флагу,
которым небо машет нам!

1921

* * *

Если опять этот дом — бог,
если кастрюля — святоша:
снова и снова — о бомбах,
свернутых в форме ветошек,

Скрученных в крендель и в сайку,
взвитых концертной сонатой;
нынче — их резвую стайку
видели над Канадой;

Завтра они над Мадридом
кружат меж каменных кружев,
неуловимые видом
реют над руганью ружей;

После — в Чикаго и в Чили,
в душах Россий и Германий...
Их наши сны научили
рваться у мира в кармане.

Слушай, читатель, ты тоже
с бомбой, подпрыгнувшей рядом,
может быть, взорванно ожил
вместе с бесшумным разрядом?!

1921

ПРЕДЧУВСТВИЯ

1

Деревня — спящий в клетке зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,
и — дрогнут сломанные прутья...

То было раз — и той поры
зажженных жил так ярок запах!
То не ножи и топоры,
то когти на сведенных лапах.

И только крик — и столько рук
подымутся из древней дали,
и будет бить багор и крюк,
сбивая марево медалей.

И я по лицам узнаю
и по рубашкам кумачовым —
судьбу грядущую свою,
протоптанную Пугачевым.

И на запекшейся губе,
и пыльной, как полынь, и горькой,
усмешку чую я себе,
грозящую кровавой зорькой.

Деревня — опаленный зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но грянет выстрел, хлопнет дверь,
и — когти брошены на прутья.

2

Какой многолетний пожар мы:
сведенные мужеством брови,
и — стены тюрьмы и казармы
затлели от вспыхнувшей крови.

И кровь эта смелых и робких!
И кровь эта сильных и слабых!
О, жизнь на подрезанных пробках,
в безумия скорченных лапах!

И кровь эта мечется всюду,
и морем ее не отмоют,
и кровь эта ищет Иуду,
идущего с сѐребром тьмою.

И вы, говорившие: «Пуль им!»
И вы, повторявшие: «Режь их!» —
Дрожите, прильнувши к стульям,
увидев поход этих пеших.

Кто жаждет напиться из лужиц,
тот встретит преграду потока, —
сумейте же будущий ужас
познать во мгновение ока!

Ведь если пощады в словах нет,
ведь если не выплыть из тины, —
припомните: ржавчиной пахнет
затупленный нож гильотины.

1916

ВОЗЗВАНИЕ

Читайте солнечные прописи,
семнадцатого года сверстники!
Оно само сюда торопится,
огромные вздевая перстни,
само оно, столетий ранами
поранив розовые руки,
кричит, что радостными самыми
зовутся солнечные звуки!
Я свежесвязанных — сдаю тюки
на поезда, в веселье мчащих...
Люди! Вы расцвели, как лютики.
поляной золотою в чаще.

Сюда, сюда,
где всегда
молодая вода
блестела, века холодна!

Березовые волосы и ивовые мысли,
училище шиповника, черемуховый ряд,
где белые отрезы нежнее лент повисли,
где рвется синий ситец и гроз парчи горят.
Вся в розовых чашках гостиница яблонь,
и пчел казначейство, и липовый рынок,
и солнечный суд, где ветер ограблен
холодною шайкой цветущих травинок,
где ранней росою прошедший косарь
изранил косой благовонную марь,

где, высосав желтое пиво,
качается буйно крапива...
В одном из зеленых весенних дворцов
назначена песнь залетевших скворцов,
и сам соловей, закрывая глаза,
не в силах весне свою жизнь рассказать!

Сюда, сюда,
где одна
молодая вода
блестела, века холодна!

А над ней, обревевшись ревмя,
раскрывая беззвучно едало,
некрасивое старое Время,
потерявшее голос, рыдало.

1917

НЕБО РЕВОЛЮЦИИ

Еще на закате мерцали...
Но вот — почернело до ужаса,
и все в небесном Версале
горит, трепещет и кружится.

Как будто бы вечер дугою
свободу к зениту взвез:
с неба — одна за другою
слезают тысячи звезд!

И как над горящею Францией
глухое лицо Марата, —
среди лихорадящих в трансе
луна — онемевший оратор.

И мир, окунувшись в мятеж,
свежеет щекой умытенькой;
потухшие звезды — и те
послов прислали на митинги.

Услышьте сплетенный в шар шум
шагов без числа и сметы:
то идут походным маршем
к земле — на помощь — планеты.

Еще молчит тишина,
но ввысь — мечты и желания,
и вот провозглашена
Великая Океания.

А где-то, как жар валюты,
на самой глухой из орбит,
солнце кровавым Малютой
отрекшееся скорбит!

1917

И ВОТ ОПЯТЬ ВСЕ ТО ЖЕ

Как черви, плоски и пра́вы,
столпились людские истины,
но гневно краснеют травы,
и лес истлевает лиственный.
Про эти зеленые войны
какой сообщу редакции?
Ведь слишком густой и хвойный
победой в своих рядах сиял.
Как ставят иконе свечку —
я штык навинчу и вычищу:
иди ко мне, человечку,
большой и злой человечище.
Травой обгорелой стань
ты, голос, глухой меж прочими,
и боль оборви, гортань,
кровавыми свежими клочьями.
А ты, тишина, — ори
и новому миру радуйся
в жару осенней зари,
в горячечном белом градусе!

1914

СТИХИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

1

Выстрелом дважды и трижды
воздух разорван на клочья...
Пули ответной не выждав,
скрылся стрелявший за ночью.

И, опираясь об угол,
раны темнея обновкой,
жалко смеясь от испуга,
падал убитый неловко.

Он опускался, опускался,
и небо хлынуло в зрачки.
Чего он, глупый, испугался?
Вон звезд веселые значки,

А вот земля совсем сырая...
Чуть-чуть покалывает бок.
Но землю с небом, умирая,
он все никак связать не мог!

2

Ах, еще, и еще, и еще нам
надо видеть, как камни красны,
чтобы взорам, тоской не крещенным,
пересниились бы страшные сны,

Чтобы губы, не знавшие крика,
превратились бы в гулкую медь,
чтоб от мала бы всем до велика
ни о чем не осталось жалеть.

Этот клич — не упрек, не обида!
Это — волк завывает во тьме,
под кошмою кошмара завидя
по снегам зашагавшую смерть.

Он, всю жизнь по безлюдью кочуя,
изучал издалека врагов
и опять из-под ветра почуял
приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,
немы сосны, и звезды молчат.
Как же мне, одинокому волку,
не окликнуть далеких волчат!

3

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
и выстрелов трели ударились в дали,
даль растерялась — расстрелилась даль,
но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы вместе любили, мы вместе дышали,
в одном наши щеки горели бреду.
Уходишь? И я за тобою иду!

На пасмурном небе затихнувший вечер,
как мертвое тело, висит, изувечен,
и голубь, летящий изломом, как кречет,
и зверь, изрыгающий скверные речи.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы сердце о сердце, как время, сверяли,
и как же я встану с тобою, расстрелян,
пред будущим звонким и свежим апрелем?!

4

Если мир еще нами не занят
(нас судьба не случайно свела) —
ведь у самых сердец партизанят
наши песни и наши дела!

Если кровь напоенной рубахи
заскорузла в заржавленный лед —
верь, восставший! Размерены взмахи,
продолжается ярый полет!

Пусть таежные тропы кривые
накаляются нашим огнем...
Верь! Бычачью вселенскую выю
на колене своем перегнем!

Верь! Поэтово слово не сгинет.
Он с тобой — тот же загнанный зверь.
Той же служит единой богине
бесконечных побед и потерь!

1921

ПЕРВОМАЙСКИЙ ГИМН

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Осыпаны снегами,
окутаны ночами,
встречались мы с врагами
грозящими очами.

Но встал свободы вестник,
подобный вешним водам,
винтами мрачных лестниц
взлетевший по заводам.

От слов его синели
и плавились металлы,
и ало пламенели
рабочие кварталы.

Его напевы проще,
чем капли снеготая,
но он запел — и площадь
замолкла, как пустая.

Рабочие России,
мы жизнь свою сломаем,
но будет мир красивей
цветущий Первым маем!

Не серый мрамор крылец,
не желтый жир паркета —
для нас теперь раскрылись
все пять объятий света.

Разрушим смерть и казни,
сорвем клыки рогаток, —
мы правим правды праздник
над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,
когда идет свобода.
Он вырван, черный браунинг,
из рук врагов народа.

И выбит в небе дней шаг,
и нас сдержать не могут:
везде сердца беднейших
ударили тревогу.

Над гулом трудных будней
железное терпенье
полней и многотрудней
машин шипящих пенья.

Греми ж, земля глухая,
заводов дым вздымая,
цвети, благоухая,
рабочий праздник мая!

1920

КУМАЧ

Красные зори,
красный восход,
красные речи
у Красных ворот,
и красный,
на площади Красной,
народ.

У нас пирогами
изба красна,
у нас над лугами
горит весна.

И красный кумач
на клиньях рубах,
и сходим с ума
о красных губах.

И в красном лесу
бродит красный зверь...
И в эту красу
прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
согнали в ряды,
мы красные в небо
врубили следы.

За дулами дула,
за рядом ряд,
и полымем сдуло
царей и царят.

Не прежнею спесью
наш разум строг,
но новые песни
все с красных строк.

Гляди ж, дозирая,
веков Калита:
вся площадь до края
огнем налита!

Краснейте же, зори,
закат и восход,
краснейте же, души,
у Красных ворот!

Красуйся над миром,
мой красный народ!

1921

РАДИОВЕСТЬ

> Сенсацией заграничных газет является вновь всплывшая гипотеза о световых сигналах с Марса, подтверждаемая такими авторитетами, как Маркони и др.
>
> *Из газет*

Радио с Марса! Радио с Марса!
Неужели правда? Неправда! Нет!!
Прыжки огромного желтого барса,
распластанного между планет.

Маркони, к ответу! Маркони, скорее!
И — только рот отверст:
сморщились мысли, сверкнув и прореяв
пятьдесят миллионов верст.

Пятьдесят сияющих миллионов
обухом пали на череп земли,
на которой гнусили: «...Во время оно...»
И брехал на жизнь пистолет.

И люди, не чуя горящих подметок,
бросая детей и давя стариков,
помчались, сбивая плевки пулемета,
глазеть на свершенное чудо веков.

— Неужели ж не бред? Неужели не сон?
— Какое! Слепые от света мечутся!!
— Тише!!!
«Земля. Говорит Эдисон».
«О-т-в-е-ч-а-е-т
с-ы-н ч-е-л-о-в-е-ч-е-с-к-и-й».

1921

СКАЗ

Бедности дней,
сумраку дней,
нищенству дней

Жизнь — все видней,
боль — все родней.
Сердце, бледней!

Сказка — как быль,
были — что бред, —
в серый ковыль
втоптанный след.

Взвит над страной
крик громовой:
«Встань предо мной,
как лист пред травой!»

Ванька-дурак,
черная кость,
свищет в кулак
в сумрак и в злость.

Сердцу — напасть,
стиснулось в ком.
Что мне за сласть
в свисте таком?

Катится свист,
валится лист.
Это я сам
вьюсь по лесам?

Мчусь целиной?
Вьюсь синевой? —
«Встань предо мной,
как лист пред травой!»

Впали бока
в пенном поту,
чья-то рука —
хвать на лету!

В ухо мне влез,
вылез в уста,
стал перед лес
чист, как хрусталь.

Цвет ковылей
сломит ли злость?
Ярче белей,
конская кость!

Бедности дней!
Жалости дней!
Милости дней!

Жизнь — все видней!
Боль — все родней!
Сердце, бледней!

1919

ОТВЕТ

На мирно голубевший рейд
был, как перчатка, кинут крейсер,
от утомительного рейса
спешивший отдохнуть скорей...

Но не кичитесь, моряки,
своею силою тройною:
тайфун взметает здесь пески —
поэт идет на вас войною!

Пусть взор, склоняющийся ниц,
покорный силе, вас встречает,
но с опозоренных границ
вам стих свободный отвечает.

Твоей красе никто не рад,
ты гость, который не был прошен,
о, серый, сумрачный пират,
твой вызов — будущему брошен.

Ты, седовласый капитан,
куда завел своих матросов?
Не замечал ли ты вопросов
в очах холодных, как туман?

Пусть твой хозяин злобно туп,
но ты, свободный англичанин,
ужель не понял ты молчаний,
струящихся со стольких губ?

И разве там, средь бурь и бед,
и черных брызг, и злого свиста
не улыбалося тебе
виденье Оливера Твиста?

И разве там, средь бурь и бед,
и клочьев мчащегося шторма
не понял ты, что лишь судьбе
подвластна жизнь и жизни форма?

Возьмешь ли на себя вину
направить яростные ядра
в разоруженную страну,
хранимую лишь песней барда?

Матрос! Ты житель всех широт!..
Приказу ж: «Волю в море бросьте» —
Ответствуй: «С ней и за народ!»
И — стань на капитанский мостик!

1917

ЧЕЛОВЕЧЬЕМУ СЫНУ

И я от тоски трясуся
в глухом человечьем краю,
лишь вспомню опять, Исусе,
судьбу твою!

Когда глухую ораву
спросили об имени тайном,
все взвыло в ответ: «Варавву,
Варавву, Варавву отдай нам!»

И серою стаею волчьей
тебя проводив до креста,
комок, напитанный желчью,
копьем воткнули в уста.

А после каялись, плакали,
твердя забытое имя,
и — снова довольно крякали,
глумясь над детьми твоими.

Так что ж, и мне — с этим хором
друзей, родных, домочадцев —
тебя с убийцей и вором
послать на кресте покачаться?

Чего же растишь мне ухо,
ведь все равно не услышат
сквозь сон перинного пуха
о том, чем душа твоя дышит!

Ведь даже огромный Петр твой,
потливым страхом окован,
дрожа, в тоске полумертвой
сказал: «Не знаю такого!»

И я решил: свою юность
пропев, прогуляв, протратив,
смеясь в лицо тебе плюнуть,
чтоб помнил о младшем брате;

Чтоб дольше на белом свете
средь бешеных волков прóбыв,
на песню мою ответил
такой же горящей злобой.

1918

МОСКВА НА ВЗМОРЬЕ

Взметни скорей булавою,
затейница русских лет,
над глупою головою,
в которой веселья нет.

Ты звонкие узы ковала
вкруг страшного слова «умрем»...
А музыка — ликовала
во взорванном сердце моем.

Измята твоих полей лень,
за клетью пустеет клеть,
и росный ладан моленен
рассыпан по небу тлеть.

Яркоголовая правда,
ступи же кривде на лоб,
чтоб пред настающим завтра
упало вчера — холоп!

Чтоб, в облаках еще пенясь,
истаяла б там тоска!
Чтоб город, морей отщепенец,
обрушился в волн раскат!

Над этой широкой солью,
над болью груженых барж —
лишь бровь шевельни соболью —
раздастся северный марш.

Взмахни ж пустыми очами,
в которых выжжена жуть, —
я здесь морскими ночами
хожу и тобой грожу!

1920

* * *

Еще и осени не близко,
еще и свет гореть — не связан,
а я прочел тоски записку,
потерянную желтым вязом.

Не уроню такого взора,
который — прах, который — шорох.
Я не хочу земного сора,
я никогда не встречу сорок.

Когда ж зевнет над нами осень,
я подожгу над миром косы,
я посажу в твои зеницы
такие синие синицы!

1919

* * *

Вьюги в сияющих усах
промчался спугнутый русак.

Прочтут ли серебряный бред
блестящие белые притчи,
где бега оставленный след
оттиснулся ужаса швыдче?

Есть повесть — на скинутой шкуре
от прыгавших прежде пружин,
как вьюга задумчиво курит
над призраком серых дружин.

Здесь столько таимых ночевок,
какою-то думой печалясь,
обрывками лиц Пугачева
во тьме над плечами качалось.

И кто-то, звеневший как деньги,
назвал себя именем Стеньки!

Еще не успеешь завиться,
как входит и свистнет Савицкий!

Я сам, свой отрезанный ус
увидев, — с ножом обернусь...

В морозную синь отуманясь,
рукой опираясь на села, —
здесь в каждой звезде — самозванец
стоит, молодой и веселый!

1917

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

(Бег)

Друзьям

Наши лиры заржáвели
от дымящейся крóви,
разлученно державили
наши хмурые брови.

И теперь перержавленной лирою
для далеких друзей я солирую:

«Бег
тех,
чей
смех,
вей,
рей,
сей
снег!

Тронь струн
винтики,
в ночь лун,
синь, теки,
в день дунь,
даль, дым,
по льду
скальды!»

Смеяв и речист,
смеист и речав,
стоит словочист
у далей плеча.

Грозясь друзьям усмешкою веселой,
кричу земли далеким новоселам:

«Смотри-ка пристально —
ветров каприз стальной:
застыли в лоске
просты полоски,
поем и пляшем
сиянье наше,
и Север ветреный,
и снег серебряный,
и груди радуг,
игру и радость!

Тронь струн
винтики,
в ночь лун,
синь, теки,
в день дунь,
даль, дым,
по льду
скальды!»

1921

* * *

Когда качнется шумный поршень,
и небеса поголубеют,
и пронесется низко коршун
над голубиной колыбелью, —
какой немеющей ладонью
сберут небесные одонья?

Владения осеннего тепла,
где смерти сон — приветливый табор,
и если ты — осенний лист, — не плачь:
опрятен дней расчесанный пробор.

И гребешок из солнечных зубцов,
распутывая кудри облаков,
откроет вдруг холодное лицо.
И это — даль уснула глубоко.

И ветра в сияющем свисте
осыплются звездные листья,
и кисти сияющих ягод
на пальцы берущие лягут.

1917

ОСЕНЬ

На ветра тренькавшая кобзе,
слепая ночь убилась об земь...
Ты нынче всяких слов нарядней
встаешь, морозная заря дня!
Не верящий — иных красе вер,
я сам весь ветер и весь Север!

Здесь ваша веселая явка,
о, свежих умов короли,
здесь мира цветущая лавка
открыла прилавок земли,
и брошена с неба без стука
беленая первая штука.

Пусть с тайной злобой спросят: «Кто-сь они?»
Из снежных вылезши пеленок,
отмеряйте лиловой осени
и выберите дней зеленых —
чтоб золотой шумящей кромкой
взыграл бы первый ветер громкий.

И, этим блестящим одеты нарядом,
вы станете пламени реющим рядом,
и будут посланцы глядеть молодей
того, что носило названье Людей.
И с Запада будет сверкать на Восток
всемирного племени вечный восторг!

Ведь так спокоен, тих и прост,
сбивая с веток первый пух,
качает ветку серый дрозд —
тепла и жизни легкий пук,
и груди сияющих соек
синеют бессонной красою.

Нет защиты нежных щек от
мчащих бодрый холод жал.
Этот острый, легкий щекот
небом озими связал.
Это кто-то в нить урока
жизни свежие снизал.

1921

ИГРА

За картой убившие карту,
все, чем была юность светла,
вы думали: к первому марту
я все проиграю — дотла.
Вы думали: в вызове глупом
я, жизнь записав на мелок,
склонюсь над запахнувшим супом,
над завтрашней парой чулок.
Неправда! Я глупый, но хитрый.
Я больше не стану считать!
Я мокрою тряпкою вытру
всю запись твою, нищета.
Меня не заманишь ты в клерки,
хоть сколько заплат ни расти,
пусть все мои звезды померкли —
я счет им не буду вести.

Шептать мне вечно, чуть дыша,
шаманье имя Иртыша.
В сводящем челюсти ознобе
склоняться к телу сонной Оби.
А там — еще синеют, неги,
светлейшие снега Онеги.
Ах, кто, кроме меня, вечор им
поведал бы печаль Печоры!
Лишь мне в глаза сверкал, мелькал,
тучнея тучами, Байкал.

И, играя пеною на вале,
чьи мне сердце волны волновали?
Чьи мне воды губы целовали?
И вот на губах моих — пена и соль,
и входит волненье, и падает боль,
играть мне словами с тобою позволь!

1921

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПЛЯСКЕ

Зеленый лед залива скользкий...
Давай пропляшем танец польский?
Но, нет! Он сумрачен и сух,
он не звенит, как стертый пенязь:
поблек кунтуш, оплыл кожух,
наш лед обломится, запенясь,
и в зажурчавшую кайму
оденется напрасно весь он,
и этой песни не поймут,
как всех прекрасных, нежных песен.

Еще правдивей и короче
и лучше длинных пустяков
плясать под музыку орочa,
под детский голос остяков.

Тебе же сосны надоели,
пускай свою нам бросит перс тень
и повернет вокруг недели,
как сказочный волшебный перстень,
чтобы тебе могла присниться
небес сияющая кротость,
чтоб снова Будда сел на лотос,
склонив гремящие ресницы.

Пока же здесь — пока мы здесь,
пока стоим в оленьей шкуре,
пока сияет Север весь, —
давай пропляшем танец бури!

1918

МУЗЫКА ИЗ ОКОН

Подмостки вечера пологого —
лишь вина вечерних рос допью —
Бах, в перчатках из олова,
колеблет тяжкою поступью.

Но он ускоряет шаг, не рад,
гонимый темною тенью:
это — грозные трубы Вагнера
пророчат землетрясенье...

А по синему небу августа
видно летящего Фауста,
избитого вдоль и пóперек
хлыстами смычков в опере.

1921

ОКЕАНИЯ

1

Вы видели море такое,
когда замерли паруса,
и небо в весеннем покое,
и волны — сплошная роса?

И нежен туман, точно жемчуг,
и видимо мление влаг,
и еле понятное шепчет
над мачтою поднятый флаг,
и, к молу скрененная набок,
шаланда вся в розовых крабах?

И с берега — запах левкоя,
и к берегу льнет тишина?..
Вы видели море такое
прозрачным, как чаша вина?!

2

Темной зеленью вод бросаясь
в занесенные пылью глаза,
он стоит между двух красавиц,
у обеих зрачки в слезах.

Но не любит тоски и слез он,
мимолетна — зари краса.

На его засвежевший лозунг
развиваются паруса.

От его молодого свиста
поднимаются руки вверх,
на вдали зазвучавший выстрел,
на огонь, что светил и смерк.

Он всему молодому сверстник,
он носитель безумья брызг,
маяками сверкают перстни
у него на руках из искр.

Ополчись же на злую сушу,
на огни и хрип кабаков, —
Океан, загляни нам в душу,
смой с ней сажу и жир веков!

3

Он приставил жемчужный брегет
к моему зашумевшему уху,
и прилива ночного шаги
зазвучали упорно и глухо.

Под прожектор, пронзающий тьму,
озаряющий — тело ль, голыш ли? —
мы по звонкому зову тому
пену с плеч отряхнули — и вышли.

И в ночное зашли мы кафе —
в золотое небесное зало,
где на синей покатой софе
полуголой луна возлежала.

И одной из дежурящих звезд
заказав перламутровых устриц,
головой доставая до люстры,
он сказал удивительный тост:

«Надушен магнолией
теплый воздух Юга.
О, скажи, могло ли ей
сниться сердце друга?

Я не знаю прелестей
стран моих красавиц,
нынче снова встретились,
к чьим ногам бросаюсь».

И, от горя тумана серей,
он приподнялся грозным и жалким,
и вдали утопающий крейсер
возвестил о крушении залпом.

Но луна, исчезая в зените,
запахнув торопливо жупан,
прошептала, скользя: «Извините».
И вдали прозвучало: «Он пьян».

1921

НОВОЕ УТРО

Как на рассвете видеть странно
богов с седою бородой!..
Их океан — большая ванна
с позеленевшею водой.

Но лжет виденье Иоанна!
Наш бог — живой и молодой...

И не от вешнего угара
кружится сладко голова —
то курят ангелы сигары,
слагая новые слова.

Моя нетвердая походка,
звеня, уносит плиты прочь.
«Уйдите, старая кокотка,
вчера увянувшая ночь!»

Ничьих свиданий на рассвете
несмелый шум не шелестел,
пока черемуховый ветер
не сбросил брызги на листе.

И воздух стал — нежнее шелка,
прильнув к плечам, прильнув к домам,
а соловей его исщелкал
и в клочья ветер изорвал!

Мне в утреннем душистом хламе
зарыться сладко в сон и в тишь,
но солнце, — рыжими хохлами
сверкая, захохочет с крыш.

Пока же мир поет: «Осанна!» —
пока никто не увидал, —
скорее — в небеса, Оксана,
навек, навек и без следа!

Чернеют голоса рабочих,
цепляясь в небо, лезет дым,
и скверною зловещих бочек
изруган запах резеды...

И вот бредут комочки ваты, —
о, сколько этим лицам лет?!
«Вы вечно, вечно виноваты:
мы вновь остались на земле!»

1919

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА

(Мировая поэма)

> А если песня, над нами вспархивая,
> звенела — вольна и дика,
> вы все говорили, что это анархия
> взметает тело стиха!

1

В единственно нежном горле,
обмытом песнею лет,
вы смех превратите скоро ли
в сухих позвонков скелет?

Единственный житель города,
имеющий право жить,
пронесший голову гордой
сквозь рухнувшие этажи, —

Стоит и небом любуется,
сияет и смотрит вверх.
О — как бы — в безумное буйство
он ваше разумье не вверг?!

Нет! Вросши в ночи лиловые,
доверив ветру виски,
идет он, презрительно сплевывая
слюну голодной тоски;

Скользит на розовой нечисти
земных изолганных зорь —
он, новый враг человечества,
залитый дождей слезой.

2

И вот заигравший призыв,
разрезавший мира секунды,
и — нету предела грозы
весь мир закружившего бунта.

И бьет потрясающий пульс
раздутых тревогой артерий,
и в бурю разбуженных улиц
врывается крик о потере.

Конвульсий веселых толпа
взбугрила лазурное ложе,
и — неба дурацкий колпак
висит, как змеиная кожа.

И длится взыгравших планет
кощунственно сладкая пляска:
на каждой свободной стране
горит огневая повязка!

3

Шатаются неба штанги,
шелк мира измят и скомкан.
Еще один падший ангел
запел неожиданно громко.

Губам, губам барабан дай!
Трубите, глаза, тревогу!
Годов обложены бандой,
проложим сквозь век дорогу!

Вы черной стеной стоите,
а мы — одни перед всеми...
За мной, мой брат и воитель,
на это крапивное семя!

Взлетай над призрачной бандой!
Дорогу! Дорогу! Дорогу!
Губам, губам барабан дай!
Глаза, трубите тревогу!

В глазах качается пламя.
На голову лаву лей им!..
О мира минувшем хламе —
не вспомним и не пожалеем!

4

Эй! Вверх подымите бороды,
глаза протирайте, пуча:
единственный житель города
струит стрекозой сквозь тучи!

Его самолет лунеет
и лижет вселенский лед,
и песня, как флаг,
а за нею
летучих племен полет.

1920

ОХОТА

1

Где скрыт от взоров любопытных
мороза цвет — белокопытник, —
я — выбран осени в хорунжие
весны холодной — свежей волей
несу последнее оружие
на огневые крики боли.

На выкрики клювов утиных,
гремящих от тихой реки,
летят на своих паутинах
сквозь синюю даль пауки.

Охотник! Напрасно ты целишь
в летящую дикую прелесть:
прозрачный ломается шерешь,
и — песня со смертью расстрелись,
и смерть, посидевши на мушке,
рассыплет по берегу смушки.

2

Этот лес еще не очень
обожжен и позолочен,
этот день еще не так
полон бегством птиц и птах, —

но, грубостью боли терзаясь,
кричит человечески заяц;
и леса невидную убыль
обрежут косые дробины:
и — падает с дерева дупель
сквозь красные капли рябины;
и тлеют поляны от лая,
от хриплого желтого смеха,
где мчатся лисицы, пылая
летающим пламенем меха;
и воют пришедшие с Волги
веселые сивые волки!

1917

* * *

Мы пили песни, ели зори
и мясо будущих времен. А вы —
с ненужной хитростью во взоре
сплошные темные Семеновы.

Пусть краб — летописец поэм,
пусть ветер — вишневый и вешний.
«А я его смачно поем,
пурпурные выломав клешни!»

Привязанные к колесу
влачащихся дней и событий,
чем бить вас больней по лицу,
привыкших ко всякой обиде?

О, если бы ветер Венеций,
в сплошной превратившийся вихрь,
сорвав человечий венец их,
унес бы и головы их!

О, если б немая кета
(не так же народ этот нем ли?)
с лотков, превратившись в кита,
плечом покачнула бы землю!

Окончатся праздные дни...
И там, где титаны и хаос,
смеясь, ради дальней родни,
прощу и помилую я вас.

Привязанных же к колесу,
прильнувших к легенде о Хаме, —
чем бить вас больней по лицу,
как только не злыми стихами?!

1919

ОЛЕНИЙ КЛИЧ

Скорей, завистник мой, свой нож иззубривай!
Во сне качается мой рог изюбревый,
во сне качается, во тьме кончается,
кровавой каплею в конце венчается.

1920

ЗАРЖАВЛЕННАЯ ЛИРА

1

Осень семенами мыла мили,
облако лукавое блукало,
рощи черноручье заломили,
вдалеке заслушавшись звукала.

Солнце шлялось целый день без дела.
Было ль солнца что светлей и краше?..
А теперь — скулой едва прордело,
и — закат покрылся в красный кашель.

Синий глаз бессонного залива
впился в небо полумертвым взглядом.
Сивый берег, усмехнувшись криво,
с ним улегся неподвижно рядом...

Исхудавший, тонкий облик мира!
Ты, как тень, безмочен и беззвучен,
ты, как та заржавленная лира,
что гремит в руках морских излучин.

И вот —
завод
стальных гибчайших песен,
и вот —
зевот
осенних мир так пресен,

и вот —
ревет
ветров крепчайших рев...
И вот —
гавот
на струнах всех дерев!

2

Не верю ни тленью, ни старости,
ни воплю, ни стону, ни плену:
вон — ветер запутался в парусе,
вон — волны закутались в пену.

Пусть валится чаек отчаянье,
пусть хлюпает хлябями холод —
в седое пучины качанье
бросаю тяжелый стихов лот.

А мы на волне покачаемся,
посмотрим, что будет, что станет.
Ведь мы никогда не кончаемся,
мы — воль напряженных блистанья!

А если минутною робостью
скуют нас сердца с берегами —
вскипим! И над синею пропастью
запляшем сухими ногами.

3

И, в жизнь окунувшийся разом,
во тьму жемчуговых глубин,
под шлемом стальным водолаза
дыши, и ищи, и люби.

Оксана! Жемчужина мира!
Я, воздух на волны дробя,
на дне Малороссии вырыл
и в песню оправил тебя.

Пусть по дну походка с развальцем,
пусть сумрак подводный так сыр,
но солнце опалом на пальце
сияет на синий мир.

А если не солнцем — медузой
ты станешь во тьме голубой, —
я все корабли поведу
за бледным сияньем — тобой.

4

Тысячи верст и тысячи дней
становятся все видней...
Тысячи душ и тысячи тел...
Рой за роем героев взлетел.

В голубенький небесный чепчик
с прошивкой облачного кружевца
одевшись,
малый мир
все крепче
зажать в ручонки землю тужится.

А —
старый мир
сквозь мертвый жемчуг
угасших звезд, что страшно кружатся,
на малыша глядит и шепчет
слова проклятия и ужаса.

1920

ВОЛГА

1

Вот пошли валы валандать,
забелелась кипень.
Верхним ветром белый ландыш
над волной просыпан.

Забурлилась, заиграла,
загремела Волга,
закружила влажью вала
кружево восторга.

Нет на свете выше воли,
чем на этих гребнях,
и на них сидеть изволит
пеньявода-Хлебник.

И на них, наплывши тучей,
под трезвон московский,
небо взять в стальные крючья
учит Маяковский.

И влачит Бурлюк-бурлака
баржу вешних кликов,
и дыбятся, у орла как,
перья воли дикой.

А за теми плавят струи
струги струнной вести,
то, опившись песней, — други
распевают вместе!

2

Синяя скважина
в черной земле
смята и сглажена
поступью лет.

Выбита шайками
шумных ватаг,
взвеялась чайками́
небо хватать.

Этой ли ветошью
песне кипеть?
Ветром рассвета шью
зорь этих медь!

3

Загули Жигули,
загудели пули,
загуляли кули
посредине улиц.

Заплясали столбы,
полетели крыши:
от железной гульбы
ничего не слышать!

Только дрему спугнешь,
только сон развеешь —
машет алым огнем
Степан Тимофеич!

Машут вверх, машут вниз
искряные взоры...
Перегнись, перегнись
через эти горы!

Разливайся, река,
по белому свету!
Размывай перекат,
пеня песню эту!

1921

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Было солнце сегодня совершенно не гордо,
неумытое встало — и как будто в просонках,
просидело весь день в головах у города,
копошась, словно мать, у него в волосенках

Так, что даже какой-то из утешенных граждан,
осторожно взобравшись на бесстрастный лазури вал,
умирая от смелости, беззаветно и дважды
об весенний закат свою трубку раскуривал.

Но, должно быть, рука его слишком сильно дрожала,
слишком горло сжимало и сомненье и страх,
и летучая искра мирового пожара
изумрудной слезою проплыла в небесах.

И, должно быть, на сердце у громадных рабочих
было слишком пустынно, что сплошной ураган,
закружившись воронкой из разорванных бочек,
ничего не коснувшись, покачнул берега.

А когда в переулке он улегся, усталый,
превратившись в весенний молодой ветерок,
солнце вышло на площадь, лик закинувши алый,
в мир широкий открывши этот малый мирок.

И, грозя глазами, повело по лавкам,
по базарам грязи пулеметов лепет.
Лишь какой-то колокол одичало рявкал,
пробираясь к небу сквозь огонь и пепел.

1917

НЕСМЕЯНА

> Метался, стучался во все ворота,
> Столбом поднимался, крутясь, с мостовой:
> Не тот это город, и полночь не та,
> И я заблудился, ее вестовой!
>
> *Борис Пастернак*

1

Несмеяна не смеется никогда,
не сменяет бледный облик изо льда,
грустных уст не изломляют ей года,
Несмеяна — неба мертвая звезда.

Слово тихое не вымолвит — горда,
выя белая не склонится — тверда,
нет в очах ее ни страха, ни стыда,
ей под ноги покорились города.

Несмеяна загляделась — никуда:
солнце снизилось, пропало без следа,
не сияет небо, мутно как слюда,
обернулися в туманы холода.

Вот и я перебираю повода,
вот и мне приспела злая череда:
выше звезд меня взметнет моя беда —
усмехнется Несмеяна навсегда!

2

И от этой старенькой сказки, —
лишь глоток ее в сердце плесни, —
развязаться могут подвязки —
голубые банты весны.

И когда, засияв без цели,
тихо молвит она — пришей!
Измениться только в лице ли
или все изменять в душе?

Но душа и лицо ведь рядом
истлевают, как талый снег.
Разливайся же трупным ядом,
ручейками звенящий смех!

И зачем мне помнить, который
нынче год и какое число,
если прежней весны заторы
половодье еще не снесло?!

Изменились лишь ночь да город,
да и те на своих местах,
тот же сладкий смертельный солод
на ресницах и на устах.

3

По улицам пахло свечами зажженными,
и дым панихидный свивался в туман,
и смерть, расстилаясь шагами саженными,
по скользким ступеням свела нас с ума.

У спутницы взор стал безлунный и матовый,
надвинулось небо совиным крылом,
и смерть, усмехнувшись, шепнула: «Захватывай
сегодня — не позже — весны перелом!»

Сегодня — не позже!.. Но раньше ли, позже ли,
ведь, значит, весна тому стала виной,
что тысячи умерших Лазарей ожили
и встали, туман закачав пеленой.

Так, значит, и мы по небесным развалинам
брели, спотыкаясь, в урочном бреду, —
лишь горних селений названья назвали нам,
как мертвые губы шепнули: «Приду!»

Так, значит, в такую же ночь и задумано,
сосчитано, собрано, снизано в нить
беззвучье тоски сумасшедшего Шумана,
чтоб в небе весеннем заразой загнить?!

Пусть так! Под одеждой твоей осиянною
я больше весны не увижу опять,
я знаю, я смею: тебя — Несмеяною
и мне усмехнувшейся надо назвать!

1919

МИРОВЕЙ

Ночь в ночь...
Точь-в-точь —
одна, как другая!
Какую выделить?
Обрядить в звезды?
Повенчать с будущим?
Вылепить в песен воске?

Перебегая,
видели
версты
мировое синее блюдище —
огромным, пустым и плоским.

Может, вправду вселенная кружится
и ветр не колеблет свечи планет?
Но — дыбом встают волоса от ужаса
при мысли, что не было мира и нет.

В гулких лесах
по тропинкам рыская,
помня о дальних небес чудесах,
видя свое
дорогое и близкое
зыбким на мира мощных весах, —
снова вопя,
зарезанная заря
прокрасит холмы убегающим следом:

опять и опять
изрешетивший небо заряд
зверю двуногому будет неведом.

Пусть
мягче тигровой лапы
вечер на горло наступит,
весь
в шорохах автомобильных шин, —
снова грусть
засветит угрюмые лампы —
темную снова глазами пустоту пить,
пока не измерит вселенскую весь
призрачный торгаша аршин.

Ночь в ночь!
Чем же отмоете
приросшую к каждому сердцу ночь вы?
Пуля и нож,
войте не войте, —
кровь уже хлещет в бездонные почвы.

День в день
вдень:
придутся один на один,
ум прикуют на беззвучную цепь,
и только по датам смертей и родин
различишь с десяток
с важнейшим
в конце.

Выверни наизнанку —
та же синь:
весен булавочные уколы,
темные отеки осени
крутят земли замызганную шарманку
на выдуманной оси.

Все одно:
в море войдешь,
улыбаясь
плавному сгибу морского хребта...

Также и в дни.
Дно?
Дна не найдешь,
только глубь голубая, —
ей о себе станешь шептать.

День в день
вдень,
стань тихонько сбоку сам:
ни один не выдастся профиль,
точно дьявольским фокусом
дурачит ярмарку Мефистофель.

Вот
новый опыт
над участью человека
той же зловещей фантазии:
две тени показались
на транспаранте двадцатого века —
изъеденный банкиром лик Европы
и гневом задернутое лицо Азии.

1920

Стальной соловей
1922

О НЕМ

Со сталелитейного стали лететь
крики, кровью окрашенные,
стекало в стекольных, и падали те,
слезой поскользнувшись страшною.

И был соловей, живой соловей,
он бил о таком и об этаком:
о небе, горящем в его голове,
о мыслях, ползущих по веткам.

Он думал: крылом — весь мир обовью,
весна ведь — куда ни кинешься...
Но велено было вдруг соловью
запеть о стальной махинище.

Напрасно он, звезды опутав, гремел
серебряными канатами, —
махина вставала — прямей и прямей
пред молкнущими пернатыми!

И стало тогда соловью невмочь
от полымем жегшей ду́ми:
ему захотелось — в одно ярмо
с гудящими всласть заводами.

Тогда, пополам распилив пилой,
вонзивши в недвижную форму лом,
увидели, кем был в середке живой,
свели его к точным формулам.

И вот: весь мир остальной
глазеет в небесную щелку,
а наш соловей стальной,
а наш зоревун стальной
уже начинает щелкать!

Того ж, кто не видит проку в том,
кто смотрит не ветки выше,
таким мы охлынем рокотом,
что он и своих не услышит!

Мир ясного свиста, льни,
мир мощного треска, льни,
звени и бей без умолку!
Он стал соловьем стальным!
Он стал соловьем стальным!..
А чучела — ставьте на полку.

1922

ОБ ОБЫКНОВЕННЫХ

1

Жестяной перезвон журавлей,
сизый свист уносящихся уток —
в раскаленный металл перелей
в словолитне расплавленных суток.

Ты гляди: каждый звук, каждый штрих
четок так — словно, брови наморщив,
ночи звездный рассыпанный шрифт
набирает угрюмый наборщик.

Он забыл, что̀ на плечи легло,
он — как надвое хочет сломаться:
он согнулся, ослеп и оглох
над петитом своих прокламаций.

И хоть ночь, и на отдых пора б, —
ему — день. Ему кажется рано.
Он качается, точно араб
за широкой страницей Корана.

Как мулла, он упрям и уныл,
как араба — висков его проседь,
отливая мерцаньем луны,
не умеет прошедшего сбросить.

У араба — беру табуны,
у наборщика — лаву металла...
Ночь! Меня до твоей глубины
никогда еще так не взметало!

2

Розовея озерами зорь,
замирая в размерных рассказах,
сколько дней на сквозную лазорь
вынимало сердца из-за пазух!

Но — уставши звенеть и синеть,
чуть вращалось тугое кормило...
И — беглянкой блеснув в вышине —
в небе вновь трепетало полмира.

В небе — нет надоедливых пуль,
там, не веря ни в клетку, ни в ловлю,
ветку звезд нагибает бюль-бюль
на стеклянно звенящую кровлю.

Слушай тишь: не свежа ль, не сыра ль?..
Только видеть и знать захотим мы —
и засветится синий сераль
под зрачками поющей Фатимы.

И — увидев, как вьется фата
на ликующих лицах бегоний, —
сотни горло раздувших ватаг
ударяют за нею в погоню.

Соловей! Россиньоль! Нахтигалль!
Выше, выше! О, выше! О, выше!
Улетай, догоняй, настигай
ту, которой душа твоя дышет!

Им — навек заблудиться впотьмах,
только к нам, только к нам это ближе,
к нам ладонями тянет Фатьма
и счастливыми росами брызжет.

1922

БАШНИ РАДИО

Удар в сто сорок тысяч вольт
какую может вызвать боль?
Нет, не предмет такого ты удара!..
Земле — и той рванет кушак,
земле — и той звенит в ушах,
земле — и той не сходит это даром!

Ночь

Если уж веровать в старого,
то — посмотрите: бог сам
учится тучи пропарывать
рваным ударом бокса!
Потного ливня хлюща
весь. Ему в небе тесно,
вот он идет и плющит
воздуха взбухшее тесто.

Ветер не сдался. Вымок.
Виснет спиной на канате...
Что ни удар, то — мимо,
мимо скользит фанатик!

Корчась во тьме кара́морой,
выдумав сто защит,
пяткой уперся в раму,
синим огнем трещит,

гонит и гнет он тени,
каждый порыв — хула...
Миг — и дрожит в антенне,
пойман тугой кулак!

День

Галереи балерин —
башни в танце.
Лорелеи перелив:
«Здесь останься!»

Там — у воющих сирен
гребень золот;
волоса их на заре
жгутся в золах.

Дождевые облака
тянет к низу ль?
Их, смотав на кулаках,
движет дизель.

И мельканье паутин
режет пряди;
их извиву на пути
реет радий.

Забежав на самый верх,
на пролетце —
ожидаем: синий сверк
к нам прольется.

Лорелеи перелив,
песни, басни...
В галереи балерин —
в башни бацнет!

1922

РОССИЯ ИЗДАЛИ

Три года гневалась весна,
три года грохотали пушки,
и вот — в России не узнать
пера и голоса кукушки.

Заводы весен, песен, дней,
отрите каменные слезы:
в России — вора голодней
земные груди гложет озимь.

Россия — лен, Россия — синь,
Россия — брошенный ребенок,
Россию, сердце, возноси
руками песен забубенных.

Теперь там зори поднял май,
теперь там груды черных пашен,
теперь там — голос подымай,
и мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
и говор голубей развешан,
и ветер пену шевелит
восторгом взмыленных черешен.

Заводы, слушайте меня —
готовьте пламенные косы:
в России всходят зеленя
и бредят бременем покоса!

Владивосток
1920

ПТИЧЬЯ ПЕСНЯ

Борису Пастернаку

Какую тебе мне лесть сплесть
кривее, чем клюв у клестà?
И как похвалить тебя, если
дождем ты листы исхлестал?

Мы вместе плясали на хатах
безудержный танец щегла...
И всех человеческих каторг
нам вместе дорога легла.

И мне моя жизнь не по нраву:
в сороку, в синицу, в дрозда, —
но впутаться в птичью ораву
и — навеки вон из гнезда!

Ты выщелкал щекоты счастья,
ты иволгой вымелькал степь,
меняя пернатое платье
на грубую муку в холсте.

А я из-за гор, из-за сосен,
пригнувшись, — прицелился в ночь,
и — слышишь ли? — эхо доносит
на нас свой повторный донос.

Ударь же звончей из-за лесу,
изведавши все западни,
чтоб снова рассвет тот белесый
окрасился в красные дни!

1922

* * *

Совет ветвей, совет ветров,
совет весенних комиссаров
в земное черное нутро
ударил огненным кресалом.

Губами спеклыми поля
хлебнули яростной отравы,
завив в пружины тополя,
закучерявив в кольца травы.

И разом ринулась земля,
расправив пламенную гриву,
грозить, сиять и изумлять
не веривших такому взрыву.

И каждый ветреный посыл
за каждым новым взмахом грома
летел, ломал, срывал, косил —
что лед зальдил, что скрыла дрема.

И каждый падавший удар
был в эхе взвит неумолканном:
то — гор горячая руда
по глоткам хлынула вулканным.

И зазмеился шар земной
во тьме миров — зарей прорытой...
«Сквозь ночь — со мной,
        сквозь мир — за мной!» —
был крик живой метеорита.

И это сталось на земле,
и это сделала страна та,
в которой древний разум лет
взмела гремящая граната.

Пускай не слышим, как летим,
но если сердце заплясало, —
совет весны не отвратим:
ударит красное кресало!

1922

ГРЯДУЩИЕ

За годом год погоды года
идут, обернувшись красиво ли, худо ли,
но дух занимает, увидишь когда, —
они пламенеют от собственной удали.

Уездами звезд раздались небеса,
земные, на млечные волости выселясь,
сумели законы глупцам не писать,
устроились стройно без пушек и виселиц

И, дружной волною отбросив в века
земные руины, томились которыми,
заставили зорко зрачки привыкать
к иным облакам над иными просторами.

Взвивайся, песнь о пролетариях,
сквозь ночи сумрачных теорий:
мир прорывая, пролетали их
искроосколки метеорьи!

Разве же это вымысел?
Разве же это хитрость? —
Каждый, корнями выймясь,
мчится, искрясь и вихрясь.

С нами
что было —
снами,

рядом
что было —
бредом,
глотку
гложите,
годы,
градом
летите,
груды!

Хмурится Меркурий
бурей,
ярая Урана
рана,
вихритесь, Венеры
эры,
рейте, ореолы
Ориона!

Мы это — над миром
марев,
мы это — над болью
были,
топорами дней
ударив,
мировую рань
рубили!

Глядите ж зорче, пролетарии,
пускай во тьме полеты — немы:
страны единой — Планетарии
грядут громовые поэмы!

1922

ВЗВИВ

Каким-то лучом багровым
промчался по дней покровам;
как неба нагое пламя,
возникнул на жизни хламе;
согнулся, суров и гневен,
скользящим клинком в огне вен;

И струнная дрожь — до свистов
всцвела от его неистовств;
и горло миров визжало,
когда его пеньем сжало;
когда он пришел весь в жалах,
в метаемых дней кинжалах;

И вот, — умирая в хрипах
изломанных в щепки скрипок;
и вот, — отгоревшим шаром
дрожа над жизни пожаром;
и вот, — отгремевшим громом
безвредно брянча над кровом, —

Пролился, звеня дождями,
над серых сердец дрожжами;
без длинных, без бьющих молний
стал болью былой безмолвной;
и грохот его горошин
казался — таким хорошим!

1922

ЛИЦОМ К СЕВЕРУ

Пусть славят весну — чьи мысли туман.
Я снега и холода атаман.

Не буду нежнеть, и стану нежней,
чем память о кинутой в воду княжне.

И я, разрывающий ветер руками,
я сделаюсь света сияющий камень.

Летучие рыбы, летучие мыши,
я воли и воздуха вылечу выше

И ширью восстану, и крыльями длин
лицо мне обрежет мелькающий млин.

1915

ПОЛЯРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Замерзшей в реснице слезе лень
скатиться, и — око кривое
уколешь об острую зелень
лоснящейся вороном хвои.

Я сердце в стальную печать скую:
умчаться на землю камчатскую,
чтоб мысль о тебе покрасивела
на мысах и лысинах Севера,
чтоб смыло с качаемой палубы
усталые милые жалобы,
чтоб призраки скуки и старости
от пара отстали на парусе.

На море Берингово, на море Охотское
я первый певучий, славучий поход скую;
тобой заблиставшую песню умчать скую
на сказочно странную землю камчатскую.

Где леса не растут, где не греют простуд
величавые Севера братья —
друг осеньего дня, звероглазым родня,
слезы Севера еду собрать я.

Мы здесь не за золотом, мы здесь не за
соболем,
мы мчались на выручу, на зов о погибели,
мы песню замерзшую из холода добыли,
из солнца застывшего — мы полымя выбили.

Мы, люди, преклоним колени,
где лед обольнули тюлени;
и к призрачно белым медведям
мы с хлебом и солью поедем;
для вас, голубые песцы,
мы весен везем образцы;
и стаи внимательных белок
узнают о сердца пробелах,
когда, уезжая в Аляску,
мы сядем в морскую коляску.

1922

БАНКИР

1

Вы носите в сумрачной сумке
стальную притихшую смерть,
а в небе — весенние думки
зовут и сияют: «Не сметь!»

Но разве смело
приставить дуло
в уклон виска?..
Лицо — из мела,
и разом сдуло
весны рассказ.

И разве храбрость
подставить сердце
под свой удар?..
Ведь если на борт
кренится сердце, —
куда? Куда?!

2

Ничего не отвечала,
только — жилка билась шибко —
рвало сердце грудь,

да у алого причала
мглилась в горькую улыбку
первых весен грусть.

3

И когда прибежали
знакомые, —
как расспросишь, о чем и о ком ее?..
Так же дни дребезжали, влекомые
лошадиною силой земной...

За мной!
Я сейчас расскажу
про жуть
этих первых слепых этажей.
Это ж ей
и пришлось познакомить
сердце с пулей так близко, так коротко
из-за жирного жадного выродка,
половицы прогнувшего в доме.

4

Спеши
на подушках мигающих шин
с распластанной навзничь любиться!
Скорее, скорее, скорее убийца
над мертвой пляши!

В судорогах последних опадающего живота
выуди судорогу страсти,
зови за собою очередь жирных ватаг —
она у тебя во власти!

Она не прогонит,
не плюнет в хайло:
она — растаяла,
стала — покойник.

5

Что ж мне жалеть ее,
о милой знакомой плакать,
ту, что теперь гниет
под протравкой весеннего лака?
Жалости в сердце нет,
только в звериной злобе
сердце — стальной стилет,
спрятанный между ребер.
Но если мир-ханжу,
замучивший тебя, встречу, —
в спину ему вонжу
красную правду стилечью
и, поворачивая острие
в дрожащем последней дрожью,
тихо спрошу про нее,
нынче проросшую рожью.

1922

НАИГРЫШ

От Грайворона до Звенигорода
эта песня была переигрывана.
В ней от доньего дня до поволжьина
крики «стронь-старина» в струны вложены.
Все, что было твердынь приуральных,
все лежат, как скирды пробуравлены.
Изломи стан, гора, хребет Яблоновый,
утекай, Ангара, от награбленного!
Ветер, жги, ветер, рви, ветер, мни-уминай,
разбирай семена, раздирай имена,
раскромсай, разбросай города в города,
вей, рей, пролетай, свою жизнь коротай!

1922

СОБАЧИЙ ПОЕЗД

1

Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!
Это бубен шаманий,
или ветер о льдину лизнул?
Все равно: он зовет, он заманивает
в бесконечную белизну.
А р р о э!
А р р р о э!
А р р р р о э!
В ушах — полозьев лисий визг,
глазам темно от синих искр,
упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!

Арроэ!
Аррроэ!
Арррроэ!
Аррррроэ!

2

На уклонах — нарты швыдче...
Лишь бичей привычный щёлк.
Этих мест седой повытчик —
затрубил слезливо волк.
И среди пластов скрипучих,
где зрачки сжимает свет,
он — единственный попутчик,
он — ночей щемящий бред.
И он весь —
гремящая песнь
нестихающего отчаяния,
и над ним
полыхают дни
векового молчания!
«Я один на белом свете вою
зазвеневшей древле тетивою!»
«И я, человек, ловец твой и недруг,
также горюю горючей тоскою
и бедствую в этих беззвучья недрах!»
Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!

3

Но и здесь, среди криков города,
я дрожу твоей дрожью, волк,
и видна опененная морда
над раздольем Днепров и Волг.
Цепенеет земля от края
и полярным кроется льдом,
и трава замирает сырая
при твоем дыханье седом,
хладнокровьем грозящие зимы
завевают уста в метель...
Как избегнуть — промчаться мимо
вековых ледяных сетей?
Мы застыли
у лица зим.
Иней лют зал —
лаз тюлений.
Заморожен —
нежу розу,
безоружен —
нежу роз зыбь,
околдован:
«На вот локон!»
Скован, схован
у висков он.
Эта песенка — синего Севера тень,
замирающий в сумраке перевертень,
но хотелось весне побороть в ней
безголосых зимы оборотней.
И, глядя на сияние Севера,
на дыхание мертвое света,
я опять в задышавшем напеве рад
раззвенеть, что еще не допето.

4

Глаза слепит от синих искр,
в ушах — полозьев зыбкий свист,
упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!..

Влеки, весна, меня, влеки
туда, где стынут гиляки,
где только тот в зимовья вхож,
кто в шерсти вывернутых кож,
где лед ломается, звеня,
где нет тебя, и нет меня,
где все прошло и стало
блестящим сном кристалла!

1922

ЧУМА

Какие умы
чумы не боятся?
И только мы —
кольцо удальцов —
в лицо чумы
смеем смеяться!
Ничто чума,
когда у жены
волосы страстью к старости крашены.
Ничто чума,
когда сожжены
глаза и в зеркале теплятся страшно...
Вчера — глядел:
китаец в схватках
вился, пеной пыль замесив.
А вечер рдел —
губная помадка, —
чесоткой звезд щекочась в небеси.
И я увидал:
косые глазища, —
зрачки почти, почти стекленя,
в моих последней надежды ищут,
последнего в мире видя меня.
Он смолк,
а зрачки я забрал с собою:
они помогут моим сиять,
когда — к последнему мира забою —
себя подведу, чтоб взорваться, — я.

1922

Совет ветров
1923

Как и всё — Оксане Синяковой

В стоны стали

В стоны стали погруженным,
в шепот шкива, в свист ремня,
как мне кинуть по «Гужонам»
радость искрой из кремня?

Как мне выбить, вырвать, вызвать,
не успевши затвердеть,
из-за лязга, из-за визга
дрожь у тысячи сердец?

Ты о чем замолк, формовщик?
Выбей годы в звон листа!
За тебя теперь бормочет
закипающая сталь.

Тугоплавкого металла
зачерпни и пей до дна:
ведь и этой песни алой
влага горлу холодна.

Если горло стало горном,
день — расплавленным глотком,
надо выть огнеупорным,
мир тревожащим гудком.

Надо вызнать кранов скрежет,
протереть и приладнять
все, что треплет, кружит, режет
болью будущего дня.

Пусть же все колеса сразу
затрепещут, зазвенят —
сложат песню — к фразе фразу, —
прокатив через меня!

1923

ГАСТЕВ

Нынче утром певшее железо
сердце мне изрезало в куски,
оттого и мысли, может, лезут
на стены, на выступы тоски.

Нынче город молотами в ухо
мне вогнал распевов костыли,
черных лестниц, сумерек и кухонь
чад передо мною расстелив.

Ты в заре торжественной и трезвой,
разогнавшей тленья тень и сон,
хрипом этой песни не побрезгуй,
зарумянь ей серое лицо!

Я хочу тебя увидеть, Гастев,
длинным, свежим, звонким и стальным,
чтобы мне — при всех стихов богатстве —
не хотелось верить остальным;

Чтоб стеклом прозрачных и спокойных
глаз своих разрезами в сажень
ты застиг бы вешний подоконник
(это на девятом этаже);

Чтобы ты зарокотал, как желоб
от бранчливых маевых дождей;
чтобы мне не слышать этих жалоб
с улиц, бьющих пылью в каждый день;

Чтобы ты сновал не снов основой
у машины в яростном плену;
чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,
землю с небом струнами стянув!..

Мы — мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?

Может быть, и не было бы пользы,
может, гром прошел бы полосой,
но смотри — весь мир свивает в кольца
немотой железных голосов.

И когда я забиваю в зори
этой песни рвущийся забой, —
нет, никто б не мог меня поссорить
с будущим, зовущим за собой!

И недаром этот я влачу гам
чугуна и свежий скрежет пил:
он везде к расплывшимся лачугам
наводненьем песен подступил.

Я тебя и никогда не видел,
только гул твой слышал на заре,
но я знаю: ты живешь — Овидий
горняков, шахтеров, слесарей!

Ты чего ж перед лицом врага стих?
Разве мы безмолвием больны?
Я хочу тебя услышать, Гастев,
больше, чем кого из остальных!

1922

ЖАР-ПТИЦА В ГОРОДЕ

Ветка в стакане горячим следом
прямо из комнат в поля вела
с громом и с градом, с пролитым летом,
с песней ночною вокруг села.

Запах заспорил с книгой и с другом,
свежесть изрезала разум и дом;
тщетно гремела улицы ругань —
вечер был связан и в чащу ведом.

Молния молча, в тучах мелькая,
к окнам манила, к себе звала:
«Миленький, выйди! Не высока я.
Хочешь, ударюсь о край стола?!

Миленький, вырвись из-под подушек,
комнат и споров, строчек и ран,
иначе — ветром будет задушен
город за пойманный мой майоран!

Иначе — трубам в небе коптиться,
яблокам блекнуть в твоем саду.
Разве не чуешь? Я же — Жар-птица —
в клетку стальную не попаду!

Город закурен, грязен и горек,
шелест безлиствен в лавках менял.
Миленький, выбеги на пригорок,
лестниц не круче! Лови меня!»

Блеском стрельнула белее мела
белого моря в небе волна!..
Город и говор — все онемело,
все обольнула пламенней льна.

Я изловчился: ремень на привод,
пар из сирены... Сказка проста:
в громе и в граде прянула криво,
в пальцах шипит — перо от хвоста!

1922

АЙ ДАБЛЬ, ДАБЛЬЮ [1]

Индустриальных рабочих мира
мощный союз
слабой моей и заржавленной лирой
славить боюсь.
Слово и славу —
к алому сплаву!
Слово и медь —
вместе греметь!
Молотом мало, там
ритм — властелин!
Струганым золотом
звук расстели!

1923

[1] IWW (Industrial Workers of the World) — Индустриальные рабочие мира.

СТАЧКОЛОМЫ

«Рядами с браунингами
выглядят славненькими,
а мы их сзади за ноги,
глуши их болванками.

Эй, стой, молодчик,
кусаешься, каналья?!
А ну, теперь без лодочки
поплавай-ка в канале.

Что же, что волосы?
И волосы рвутся...
Не шляйся, не шляйся,
пока не позовут, сам.

Вспомнил мамашеньку?
Взревел, как телок?
Ну-ка — иди ищи
в котле свой котелок.

Рви их на клочья,
прессуй их на табак,
в рот этой сволочи
пилюли для собак.

Стрелять не умеешь,
ручонки дрожат...
Товарищи, товарищи,
не обнажать ножа!

Почем платил хозяин?
Точней с ним счеты смерь!»
И вслед летит, грозя им:
«Штрейкбрехерам — смерть!»

1923

РАБОТА

Ай, дабль, даблью.
Блеск домн. Стоп! Лью!
Дан кран — блеск, шип,
пар, вверх пляши!

Глуши котлы,
к стене отхлынь.
Формовщик, день, —
консервы где?

Тень. Стан. Ремень,
устань греметь.
Пот — кап, кап с плеч,
к воде б прилечь.

Смугл — гол, блеск — бег,
дых, дых — тепл мех.
У рук пристыл,
шуруй пласты!

Медь — мельк в глазах.
Гремит гроза:
Стоп! Сталь! Стоп! Лью!
Ай, дабль, даблью!!

1923

ПЛАКАТ

Человек человеку волк...
Что ж ты прячешь клыки золотые?
Я и сам из могилы Батыя
его череп, рыча, уволок!

И теперь ты — хитри не хитри —
предо мной не прикинешься добрым:
вижу — водишь глазами витрин
по моим обтянувшимся ребрам.

Ты! Напрасно открыла плечо,
облеченная в жемчуг красотка,
нежный стан твой из варева соткан,
в нем — горячее пойло течет.

Ты все думаешь жить-поживать,
набухая изюминой плоти?!
Но не трудно жевать кружева
тем, кто глину сжует и проглотит.

Берегитесь взбесившихся дней!
Небо синее десны ощерит,
и запрыгают кольцами звери
все грознее, грозней, голодней.

Сердце тучей бездождной сжимай,
чтоб текло оно влагой, как творог!..
Ведь не даст обезумевший май
никому никаких отговорок.

Он пропитан цветком белены
над распухнувшим с голоду годом,
ядовитой голодной слюны
он синеет густым ледоходом.

И под грохот расколотых блюд
отплясавши последнюю пляску,
он на площади города, лют,
сядет вялою челюстью ляскать!

1922

ИНТЕРВЕНЦИЯ ВЕКОВ

Про пропасть и радость пропели пропеллеры,
провеял весенний воздушный сквозняк,
масштабом пробегов всю землю измерили,
и снова замолкла глухая возня.

Меня уложили на ложе Прокрустово
в каком-то безвыходном сонном краю.
Я смирно лежал и тихонько похрустывал,
и — больше не в силах — встаю и пою!

Но губы раскрыты — а звуков не слышится.
Где голос, где голос большой и прямой?
Склонись, камертона весенняя ижица
той вешки, что билась и никла зимой.

Витрина Мясницкой приколота к синему,
застыла, затлела — три века назад.
Мы требуем ветра прожиточный минимум,
и свежесть, и верность у весен в глазах.

Не нам тосковать и печалиться пó дому —
по дням, отошедшим в бесславие лет.
Мы — фабрик внимаем железному вотуму,
разбившему прежнего времени бред.

Не нам у безмолвия милости снискивать,
пища фистулой королев и пажей, —
и ваши мечты, как и ваши Мясницкие,
мы скроем под лавой двухсот этажей.

И ветер весны поднимаем мы заново,
и жить нам светло и бороться легко,
и мы не преклоним зрачка партизаньего
перед интервенцией прошлых веков!

1923

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Бабахнет весенняя пушка с улиц,
завертится солнечное ядро,
и таешь весенней синей сосулей
от лирики, плечи вогнавшей в дрожь.

И вот реквизируешь этот, первый,
хотя б у Уэллса взятый планёр,
лишь бы не так рокотали нервы,
лишь над весной подняться б на нем.

Люди века́ бы еще храпели,
жизни обрубленной нежа хрящ,
но разрезающий время пропеллер —
вот он, стоит дрожащ и горяч.

Винт заведен. Будью овеян,
клапаны сердца строже проверь,
в память вцепись руками обеими —
хлопнет в былое глухая дверь.

Город вдруг посерел и растаял —
помнил кого, думал о ком,
в землю с плечами снова врастая,
свертывается, как молоко.

Колоко-колоко, колко-колко!
(Это пульки звенят о гортань.)
Тише, тише, тише — и смолкло,
мутью вкружились, рябя борта,

Огромный глаз косоугольный
проплыл, напрягся и застыл.
Не бывший бог ли, нынче вольный,
о синий оперся костыль?

За ним: гарнирами зарницы,
любовь, гимназия, ладонь,
любимая... И вот граница,
и гладко времени плато.

Снаряд начинает швырять, —
нашатырного спирта и брому!
Мы стали в столетьях шнырять,
струясь по ухабному грому.

Из яростной давки домов,
из зверьего древнего вою,
над былей зенитом замыв,
выносимся звонкой кривою.

Последним сознаньем светля
в шуршащем обвалами мраке,
мертвит и сливает петля
пройденного опыта накипь.

Линия прогиба! Цель в лоб!
Нет, это не гибель: винт — хлоп!
Жилится висками гнев-зной,
волю мы сыскали — дней дно!

Опускаясь в скафандрах света,
в пуповинах путаясь труб,
открываем и чуем — это:
цветогранный свободный труд.

Кто из нас, предчувствием старший,
поглядит, занемевши, вниз?
Нам навстречу — ударов марши!
Нам навстречу — слепленье линз!

Мы говорим с рядами рифм,
стоящих за станками,
и нам ответом — радуг взрыв
шлифует звездный камень.

Вопрос:
«Зачем, кому носить?!
Каким таить хоромам?»

Ответ:
«Рычаг. В небес массив
на грудь ветрам и громам!
Затем, что радость есть рукам
метаться в деле вихрем,
и эту радость по строкам
своим ты тоньше выграни,
и эту радость по сердцам
продень и дай им рдеться,
не замирать, не созерцать,
трудеть — игрою детства».

Еще, еще грома, и лязг,
и цвет светимых музык.
Но разве выдержал бы глаз
такую уйму груза?

Бровь рассекши о земную сферу,
воротимся к РСФСРу.
Здравствуй, временем плывущая страна,
будущему бросившая огненный канат!

Бабахнет весенняя пушка с улиц,
завертится солнечное ядро,
и таешь весенней синей сосулей
от лирики, плечи вогнавшей в дрожь!

1923

Октябрьские песни
1925

В ТЕ ДНИ, КАК БЫЛИ МЫ МОЛОДЫ...

На жизнь болоночью
                    плюнувши,
завернутую в кружева,
еще
      Маяковский
                  юношей
шумел,
         басил,
                бушевал.
Еще не умерший
                  Хлебников,
как тополи,
              лепетал;
теперь
        над глиняным склепом его
лишь ветер
              да лебеда.
В те дни
          мы все были молоды...
Шагая,
         швырялись дверьми.
И шли поезда
               из Вологды,

и мглились штыки
в Перми.
Мы знали —
будет по-нашему:
взорвет тоской
эшелон!..
Не только в песне
вынашивать,
что в каждом сердце
жило.
И так и сбылось
и сдюжилось,
что пелось
сердцу в ночах:
подернуло
сизой стужею
семейств бурдючных очаг.
Мы пели:
вот отольются им
тугие слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!
Но время,
незнамо,
неведомо,
подкралось
и к нашим дням.
И стала ходить
с подседами
вокруг
и моя родня.
И стала
морщеной кожею
желтеть
на ветках недель.
И стало
очень похоже
на прежнюю
канитель.

Пускай голова
не кружится,
я крикну сам
про нее:
сюда,
молодое мужество,
шугай
с пути воронье!
Скребись
по строчкам линованным,
рассветом озарено,
чтоб стало опять
все ново нам,
тряхни еще стариной!
Пусть вновь
и вновь отольются ей
седые слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!

1925

МАЙСКИЙ МАРШ

Над вспаханной земли поляной
прошла последняя зима...
Давайте выстроим стеклянный,
в огнях и в зорях взвитый Май!

Громком весны, звонком трамвая,
стальным фабричным соловьем,
рукой и словом — имя Мая
над всеми странами взовьем!..

Брызнув искрами гроз из России,
рокоча электричеством туч,
мы тревогой весь мир заразили,
мы везде заронили мечту.

Молодежь Германии, стройся,
в арьергард отставь стариков,
барабанами молотобойцев
открывай в мир Май широко!

Не у Франции ль в мелочных спорах
молодые умолкли сердца?!
«Карманьолу» в кварталы! И — в порох
разлетится обрюзглый Версаль.

Негру солнце парижское светит,
он в Америке — только лакей,
но не будет различия в цвете
с этой песней, что сложит Мак-Кей.

И когда-нибудь будет привинчен
штык зуава семнадцати лет,
чтоб судом чернокожего Линча
распороть золотой эполет.

И, сжимая хлысты, англичане
будут прыгать с балконов резных
пред грозой разряженных молчаний
наступившей индийской весны.

Оцепляйте воздушной гирляндой —
стиснуть Африку шпорами бомб,
но из Конго, Суданов, Ирландий
вам навстречу взовьются столбом.

Дух седых государств захолонет
от сквозных засвистевших ветров:
это — сжатое горло колоний
перехватит весенняя дрожь;

Это — с мира слетевшая маска
вдруг откроет его, и она
не задушит нигде — первомайский
интернационал!

Старье должно посторониться,
на расы росы льют грома,
растет, взрывая все границы,
в полях и в домнах пламень — Май.

Сегодня в тучи рвется радость
свистком нагретого котла:
еще один прибавлен градус —
и снег веков сойдет дотла!

1925

ЛОЗУНГ — ТРЕВОГА

На жизнь не будет плакаться
упрямый взор рабфаковца,
не ослепить витринам
того, кто быль отринул.

Идут соржавленной Москвой,
сжимаемые улицами,
по жилам лет текут насквозь
отчетливыми пульсами.

Не лягут жилой пластовой,
не загустеют коркою,
но лавою по мостовой
подошвы жарко шоркают.

Идет рабфак — шаги гремят,
колышут щеки зарево,
от песней пышащих ребят
и камни разговаривают.

Услышь, услышь, булыжный гул,
движенье весен вычекань,
сбивай на каждом звон-шагу
отцовскую привычку!

Сменяй, срывай одежду дней,
будь громок, горд и грозен,
пускай — всего тебе родней —
тревога — лучший лозунг!

Под шумный, свежий гвалт ее
пой, будущим блестя:
«В бой, молодая гвардия
рабочих и крестьян!»

1923

НОВАЯ «КАРМАНЬОЛА»

Как в шестнадцатом году,
ненавистном и проклятом,
значит — нам уж на роду
жаться к дырам и заплатам?

Значит — как ни хлопочи,
как «Дубинушку» ни ухай,
а затянут нэпачи
золотою цепью брюхо?

Значит — вновь буржую ржать,
плавя солнце на панаме,
а тяжелая баржа,
знай вытягивайся нами?

Нет! Вскипает «Карманьола»
красным заревом обид,
наших дней весны веселых
здесь никто не оскорбит!

> На фонарь, фонарь, фонарь
> тусклых буден злую старь!
> К фонарю от фонаря
> рвись, фригийская заря!

Этих красных шапок сполох
из кирпичных длинных труб
мы волной усилий спорых
раскидаем на ветру.

И восставшие предместья,
сжав подошвой произвол,
хлынут пламенною местью —
местью мощных производств.

Мы взнесем железный вотум
до белесых облаков.
«Карманьола», дай работу
сотням звонких каблуков!

Пусть иных не будет песен.
Кто свободен? Все вперед!
Смолк угрюмо черный Эссен, —
встань, Донбасс, в его черед!

> На фонарь, фонарь, фонарь
> тусклых буден злую старь!
> К фонарю от фонаря
> рвись, фригийская заря!

1923

НОВАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

Октября
кровавые знамена,
пулями
прошитые насквозь,
разве вспомнишь
всех вас
поименно,
отстоявших
зори над Москвой?!
Разве перечтешь вас,
легших в славе,
разве соберешь
в одном лице,
танками
растоптанные навек,
взятые
мортирой на прицел?!
Расстилаясь
к северу и к югу,
в хмурый вечер,
в смерзшуюся рань,
прорывала
смерть,
и мрак,
и вьюгу —
сердца человеческого ткань.

Пели пули,
били пулеметы,
ветер
упирал ладони в грудь,
век,
казалось,
от тупой ломоты
взгляду
и костям
не отдохнуть.
Дни и вещи
плыли и кружились,
все неслось вокруг,
как мрак и бред,
но,
растягивая сухожилья,
вы сдержали
мир на Октябре!
Он взмывал
над вами
песней вольной,
неба молодого голубей,
он вставал за вами,
облик Смольный, —
вами взятой воли колыбель.
В злую глушь,
в таежные селенья,
с вышки
Октября
сторожевой
подавал
свой свежий голос
Ленин,
всем понятный,
четкий
и живой.
И опять,
наежившись штыками,
напрягая
сумрачный зрачок,

в тыл врагу
вздымался
каждый камень,
каждый
сердца бившийся клочок.
И на каждом
лесовом завале,
обрывая
трубки у гранат,
вновь и вновь
они голосовали
за тебя,
свободная страна!
Это их
суровые колонны
нынче вышли
на сплошной парад,
это ихней
кровью раскаленной
пышет бантов
красная кора.
Это им,
о прошлом не жалея,
птицей в сердце
бился мир иной,
им,
кто лег
окружьем Мавзолея —
новою кремлевскою стеной!
Октября
кровавые знамена,
пулями
прошитые насквозь,
разве вспомнишь
всех вас
поименно,
отстоявших
зори над Москвой?!

1925

ПОЭМА

Стоящие возле,
идущие рядом
плечом
к моему плечу,
сносимые этим
огромным снарядом,
с которым и я лечу!
Давайте отметим
и местность и скорость
среди ледяных широт,
и общую горечь,
и общую корысть,
и общий порыв вперед.
Пора,
разложивши по полкам вещи,
взглянуть в пролет,
за стекло,
увидеть,
как пенится, свищет и блещет
то время,
что нас обтекло.
Смотрите,
как этот крутой отрезок
нас выкрутил
в высоту!
Следите,
как ветер —
и свеж и резок —

от севера
в тыл задул!
Ты, холод,
сильней семилетьем
шурши нам:
поднявшиеся на локтях,
сегодня
мы вновь
огибаем вершину,
названье которой —
Октябрь!
Суровое время!
Любимое время!
Тебе не страшна вражда.
Горой ты встаешь
за тех из-за теми,
кто новое звал и ждал.
Ты помнишь,
как страшно,
мертво и тупо
бульвар грохотал листвой?!
Ты помнишь,
как сумрачно из-за уступа
нагретый мотался ствол?!
Озлобленно-зорко
мы брали на мушку —
кто не был
по-нашему рад,
и ночи не спали,
и хлеба осьмушку
ценили в алмазный карат.
Семь лет
провело не одну морщину,
немало
сломало чувств,
и юношу
превращало в мужчину,
как поросль
в ветвистый куст.
Семь лет
не одни подогнуло колени.

За эти
        семь лет —
качнуло Японию,
                        умер Ленин,
Марс подходил к Земле.
Он вновь поднялся,
                        Октябрем разбитый,
копейками дней звеня...
(Товарищ критик,
                        не я против быта,
а быт —
        против меня!)
Но нас
        Октября приучили были —
бои у Никитских ворот,
прильнувши
                к подножкам автомобилей,
сквозь быт
                продираться вперед.
Суровое время!
                        Огромное время!
Тебе не страшна вражда.
Горой ты встаешь
                        за тех из-за теми,
кто выучил твой масштаб.
Ты, холод,
                сильней семилетьем
                                        шурши нам:
поднявшиеся на локтях,
сегодня
        мы снова
                        увидим вершину,
названье которой —
                        Октябрь!

Октябрь 1924 г.

ПАРАД СЕМИЛЕТИЯ

Красноармейцы,
на парад!
Семь полных залпов прозвучало,
семь лет истории промчало, —
ряды выравнивать пора.

Мы бились с тысячным врагом,
как зуд, на теле высыпавшим,
как сыпь, слитом на теле нашем,
как струп, покрывшим нас кругом.

Морозы розово трещали,
и зуб не попадал на зуб,
и эту сыпь, и этот зуд
штыками с тела мы счищали.

В нас кровь, казалось, замерла, —
такие вьюги в сердце дули!
Мы отходили тяжко к Туле,
мы отступали до Орла.

Казалось, злые вечера
покрылись су́кровицей на́век,
и в жизнь вошел звериный навык,
и стало призрачно вчера.

И только мысль: Москва жива! —
нам размораживала жилы,
костром сторожевым служила
и мозг умела разжигать;

И эта мысль, как медь звонка,
нам горло зажимала в голод,
и отрывала мертвый молот
от заржавелого станка;

И обжигала нам лицо
живым огнем добытой воли,
и вновь гнала в глухое поле
на сшибку с белым мертвецом;

И уносила нас опять
в атаку — танки брать руками,
на жерла пушек — со штыками,
сквозь эти годы торопя.

Красноармейцы
                              на парад!
Сто лет история умчала:
мы положили ей начало, —
считаться с нами ей пора.

Смотрите: вот стоит, грозна,
всех стран рабочая опора.
Она сухим держала порох, —
ее легко ли не признать?!

Она жива, Москва, жива,
и не сломить ее вожатых,
как в тех годах, тоской зажатых,
не умещаемых в словах.

И каждый блузник встретить рад,
семь лет забрезжившую ало,
звезду Интернационала,
вплывающую на парад.

1924

В АТАКУ ТЬМЫ

Пока не видать
                    страды боевой,
колючей проволоки
                         да окопов, —
красноармеец,
                  с лица своего
сотри не только
                    пороха копоть.
Не ею одной
                 нам слепили глаза,
пугали рабочих
                   и гнали назад.

Чтоб не было нам
                       не видно ни зги,
сильнее,
          чем ядовитейшим газом,
невежеством
               нас одуряли враги,
глаза выжигали,
                     мутили разум.
Нынче ж,
          вдали от военной грозы,
спешно
        заучивай знаний азы.

Нам не на то
надо надеяться,
что больше буржуи
нас не тронут.
Пусть все передохнут
белогвардейцы,
но не исчезнет
невежества фронт.
В отпуск вернувшись
в свою Рязань,
черную ночь
звездой разрезай.

В работу бери
недотяп и раззяв,
книгу в глаза
и в руки перо им.
Эту лишь грозную
крепость взяв,
станешь ты подлинно
красным героем.
В дебри лесов,
в сумрак полей
звездный луч
с шишака пролей.

Проклятого прошлого
волчьи ямы
сумеем найти
и выровнять
мы.
Красноармейцы,
сурово и прямо
маршем походным —
в атаку тьмы!

1925

РЕКВИЕМ

Если день смерк,
если звук смолк,
все же бегут вверх
соки сосновых смол.

С горем наперевес,
горло бедой сжав,
фабрик и деревень
заговори, шаг:

«Тяжек и глух гроб,
скован и смыт смех,
низко пригнуть смогло
горе к земле всех!

Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами роди́н,
жизнь, отмсти за него!»

С горем наперевес,
зубы бедой сжав,
фабрик и деревень
ширься, гуди, шаг:

«Стой, спекулянт-смерть,
хриплый твой вой лжив,
нашего дня не сметь
трогать: он весь жив!

Ближе плечом к плечу, —
нищей ли широте,
пасынкам ли лачуг
жаться, осиротев?!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, тугой шаг:

«Станем на караул,
чтоб не взошли враги
на самую
дорогую
из наших могил!

Если день смерк,
если смех смолк,
слушайте ход вверх
жизнью гонимых смол!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, сплошной шаг!

1924

За рядом ряд
1925

ПЕРВОМАЙСКОЕ СОЛНЦЕ

Жуликам
наций разнообразных
не по душе
первомайский праздник.
Для жен их,
пудренных,
одеколонных,
мало поэзии
в наших колоннах.
Но, плечи сомкнув,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Нэпманы смотрят —
щурятся еле:
«Эти процессии
нам надоели!
Как в позапрошлом
и в прошлом годе
ходят,
глаза мозоля,
и ходят!»

Мимо их злобы,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Графы,
маркизы,
бароны,
сеньоры,
скройтесь скорее
в семейные норы!
К яркому солнцу
зрачки ваши
слабы,
ниже надвиньте
цилиндры и шляпы.
Полымем вея,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Лица заройте
в квартирные плюши,
уши заткните
плотнее и глуше,
чтоб ни одной
не осталося щели,
окна скорей занавешивай,
челядь.
В ногу шагая,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Слушайте,
лорды,
банкиры,
сеньоры,
здесь не помогут
замки и затворы!

В сейфы запритесь
тройными ключами —
солнце прощупает
сейфы лучами.
Слишком упорно,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Если затвор
не надежен,
не крепок,
лучшая крепость —
в фамильных склепах.
Там,
превращаясь в пепел и плесень,
этаких
вы не услышите песен.
Там не слыхать,
как, за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Там
средь могильного тлена и праха —
успокоенье
от злобы и страха.
Можно грозиться,
челюсть ощерив, —
солнце
не тронет оскаленный череп.
Вас,
отошедших в наследное лоно,
даже не вспомнит
наша колонна.
Путь свой наметив,
за рядом ряд,
движется дальше
пролетариат.

Ты же,
земля заалевшая,
здравствуй!
Здравствуй
и властвуй,
огонь демонстраций!
Выше краснейте,
лучи и знамена,
вал повернувши
многоременный!
Год за годами,
за рядом ряд,
шествуй,
победный пролетариат!

1925

ТОВАРИЩИ РАБОТНИЦЫ! БЫТ — КАЩЕЙ. С НИМ НА БОРЬБУ ОТ ПЕЛЕНОК И ЩЕЙ!

(8 марта)

Работницы с фабрик!
Батрачки с полей!
Сгоните
с лица тень:
в столице,
в ауле,
в поселке,
в селе
сегодня —
ваш день!
От тряпок,
и люлек,
и очагов —
дружнее
сомкнись,
строй!
Немало осталось
пройти шагов
сестре
с далекой сестрой.
Ты белокура
или смугла, —
удел твой
всюду жесток:
невольничьим рынком
земля легла

с запада
на восток.
Не только там,
где звенит зурна,
унылая
песнь сложена
о том,
как седому
была неверна
оплаченная жена.
Не только там,
где весна щедра,
где неба —
свежа синь,
тюремной решеткой
покрыла чадра
глаза
гаремных рабынь.
Не только там,
где, от мести стеня,
отдав
дорогой калым,
тебя влекли
за копытом коня,
бросали
вниз со скалы.
Среди патентованнейших вещей
на двадцать седьмых этажах —
повсюду
страшен обычай-кащей
встает,
твою жизнь зажав.
Семьей и религией
окружив,
столетий
тугой плен
сминает и давит
в тисках лжи,
в тоске
четырех стен.

Везде,
где золота жирен звон,
где песнь труда
на цепи, —
один-единственный
есть закон:
«Любую можно купить».
Везде,
где не вырвал
рабочий класс
у трутней
свои права, —
тяжел и тускл
похотливый глаз —
торгует
живой товар.
Еще силен
недобитый быт,
и мир
не насквозь наш.
Не кончен еще
и не позабыт
позор плетей
и продаж.
Но всюду
наша сила берет!..
От масс —
движенье вождей.
Сегодня —
вы выступайте вперед,
работницы!
Ваш день!
Восьмого марта
вы ждали хлеб:
он ваш
уже много лет.
Забейте же
в самый глубокий склеп
истлевшего быта
скелет.

Работница мира!
Сорви чадру,
сама
управляй судьбой!
Лишь тот тебе
муж, и брат, и друг,
кто трудится
рядом с тобой.
Лишь тем тебе
будущий мир мил,
который
создашь ты,
что клейма
с лица твоего смыл
неволи
и нищеты.

1925

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ВОЖДЯ

1

Зачем стихами
писать об этом?
Что выдумать тут
стиху,
где горе
в горле —
куском непропетым,
где строки
болью текут?!
Затем стихами,
чтоб не стихали
тот говор
и тот рассказ,
чтоб бились сами,
гремя сердцами,
боль,
гнев,
тоска!
Чтоб не скипелась душа,
жалея,
чтоб не затмился
свет,
чтоб не зальдился
у Мавзолея
его
неостывший след.

Снова, снова
холод жестокий
по избам
глухих волостей
от Ташкента
до Владивостока
пронизывает до костей.
Снова рабочий,
снова крестьянин
нынешним
зимним днем,
голову свесив
между горстями,
затосковал
о нем.
Какими ж словами
утишить боль ту,
на тысячах
мглистых миль,
которая мчится,
как мчится по льду
гонимая ветром пыль?
Только — припомнив
голос и поступь,
прильнув
к родпому лицу,
спеть о нем тихо,
спеть о нем просто,
как ветер
поет в лесу.

2

Нету слов об этом...
Песня,
честной будь!
По его заветам
направляй свой путь.

Будь, как можешь, проще
и других скромней.

Вот — опять та площадь
и ряды камней.

И простая кепка,
что весь мир вела,
и тугая,
          крепко
сжатая скула.

И в порыве локоть,
как кирка — на слом,
и тревожный клекот
всюду слышных слов.

И — еще бы малость —
этих губ раствор
закрепил, казалось,
всех людей родство.

Но, его не слыша,
этим зимним днем,
песня,
        тише, тише
говори о нем.

Будь простою, песня,
или — с ним замлей:
вы ведь жили вместе
на одной земле.

Проще, песня, проще,
и скромней, скромней.
Вот — опять та площадь
и ряды камней.

Город тот же самый,
тот же самый вид,
только — черной ямой
он насквозь пробит.

Он пробит навылет
черным ломом лет,
и от снежной пыли
леденеет свет.

Леденеют губы,
леденят язык.
Этой песни убыль —
только — лед слезы.

Но у дальних наций
в непробудном сне
неотступно снятся
наши лед и снег.

И, быть может, нашей
немотой над ним
всяких песен краше
мы весь мир сродним.

Будь же проще, песня,
или — с ним замлей:
вы ведь жили вместе
на одной земле.

Не могилу вырой,
замирая, стих, —
смолкнул голос мира,
ветер мира стих.

3

Поляны,
голубые от снегов...
У нас и так —
бесчисленно врагов,
они и так
нас обошли вокруг,
а этот был наш вождь,
наш брат,
наш друг!

Как мать ведет,
                    уча, свое дитя —
он вел
        страну рабочих и крестьян...
Еще ребенка
                поступь не тверда,
а уж в тоске —
                    поля и города.
Но не погибнем мы
                        от той беды:
везде —
          его горячие следы.
И мы дойдем
                по этому пути,
  которым он
                хотел нас довести.
Вы,
    пролетарии далеких стран,
соединяйтесь все
                    в единый стан!
И ты,
      заря великая,
                        залей
вождя умолкнувшего
                        Мавзолей!

1925

САККО И ВАНЦЕТТИ

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Попались двое рабочих
в сеть.
Я видел снимок —
он нем и прост:
Ванцетти и Сакко
ведут на допрос.
Деревья шумят,
солнце слепит,
песок под ногами,
как зуб, скрипит,
как стиснутый
в гневе бессильном зуб.
Насквозь этот снимок
глаза грызут!

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Попались ребята
в тугую сеть.
Чтоб черное дело
было верней —
сгрудились ищейки
вокруг парней.
Но — пленные смотрят
смелей и бодрей,

чем те,
у которых наган на бедре,
чем те,
у которых закон и власть,
чем те,
у которых бульдожья пасть.

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Попались двое рабочих
в сеть.
Шерифа фалды
летят на ходу.
Имейте, шериф,
встречный ветер в виду!
Жандарм
глаза от стыда уберег:
на пол-лица натянул
козырек;
на левой груди —
полицейский знак...
Зачем?
На прицел попадешь и так!
А дальше —
на снимке расплывчат план,
каким-то мордатым
охвостьем дан.
За что их ведут,
кольцом окружа,
свободной Америки
сторожа?
Об этом знает
бравый жандарм —
он истый янки,
он служит недаром.
Но даже ему,
с отвисшей губой,
страшно
невинных вести на убой.

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Сальцедо замучен в тюрьме
на смерть;
Ванцетти и Сакко —
его друзья:
полиция знает,
кого изъять.
Гуманная вещь —
электрический стул.
Но слышен рабочих
тревожный гул!..
Безмолвен этот снимок
и прост:
Ванцетти и Сакко
ведут на допрос...
О чем допрос?
Где искать вины? —
Пусть спросит рабочий
каждой страны.
А если в ответ
лишь смех в перекат —
пусть станет Гудзон
рекой баррикад!

Об этом — пулям,
не песням петь...
Ванцетти и Сакко —
трогать не сметь!

1925

ПАМЯТИ БАГИНСКОГО И ВЕЧОРКЕВИЧА

1

Революция!
Родина родин,
безграничны
твои пути!
Только тот
и жив
и свободен,
кто сумеет
по ним пойти,
кто,
достигнуть тебя готовясь,
пограничные
видя столбы,
подставляет
чистую совесть
под раскат
озверелой пальбы,
чья смертельная рана
клубится,
чей кровавый
тянется след,
по которому
будет убийца
проходить
через несколько лет.

2

Это были —
два офицера,
не смыкавших
ночами глаз,
для которых
сверкнула вера
в восстающий
рабочий класс.
Им цвели
не цвета нашивок,
не мишурный
блеск темляков, —
их манила
свобода вшивых
партизанящих
мужиков.
Но —
солдат ли или поручик —
о таких
не думай вещах:
в панской Польше
найдется наручник
эти думы
зажать в клещах;
в панской Польше
тюрьмы жестоки,
люди-тени
там бродят скользя...
Но горит
заря на востоке,
и ее погасить —
нельзя!

3

Союз Республик —
надежный друг.
Он не забудет
об этих двух.

На панских выродков
взамен
мы из тюремных
их вырвем степ.
Условлен выкуп,
назначен срок,
уходит в версты
глухой острог.
Но сигуранцы
не сыты псы
во тьме
на станции Столбцы.
В ту ночь
в теплушке
никто не спал
и слушал ветер
и грохот шпал.
Плачь, Польши ветер,
сильнее плачь,
тобою дышит
тупой палач!
В тяжелой лапе —
наган в упор,
и безоружных
смятенный взор,
и ощетиненный
конвой,
и треск сухой
над головой.

4

Мы их спросим
тихо, просто, прямо:
для чего та
выкопана яма?
Для кого,
носилки заготовив,
вы ночною
крались темнотою?

Польской армии
не полны списки, —
Вечоркевич где
и где Багинский?
И, тупея
от трусливой дрожи,
не ответят
польские вельможи.
Будет твердо
в памяти храниться
непереходимая
граница,
между нами пав
и между ними,
двое там остались
часовыми.
Дна не видно
той могильной яме,
вырытой
меж ними и меж нами.
Лишь тогда ее
сомкнутся грани,
как по Польше
вольный ветер
грянет!

1925

Изморозь

1927

ЭСТАФЕТА

Что же мы, что же мы,
неужто ж размоложены,
неужто ж нашей юности
конец пришел?
Неужто ж мы — седыми —
сквозь зубы зацедили,
неужто ж мы не сможем
разогнать прыжок?

А нуте-ка, тика́йте,
на этом перекате
пускай не остановится
такой разбег.
Еще ведь нам не сорок,
еще зрачок наш зорок,
еще мы не засели
на печи в избе!

А ну-ка, все лавиной
на двадцать с половиной,
ветрами нашей бури
напрямик качнем.

На этом перегоне
никто нас не догонит.
Давай? Давай!
Давай начнем!

Что же мы, что же мы,
неужто ж заморожены,
неужто ж нам положено
на месте стать?
А ну-ка каблуками
махнем за облаками,
а ну, опять без совести
вовсю свистать!

Давайте перемолвим
безмолвье синих молний,
давайте снова новое
любить начнем.
Чтоб жизнь опять сначала,
как море, закачала.
Давай? Давай!
Давай начнем!

1927

РУССКАЯ СКАЗКА

1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
«Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей».

3

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
«Мне слова твои не по мерке
и не впору упрек твой льстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?..
Люди больше меня тоскуют:
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на каменья,
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет!
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,
что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

7

Есть у многих рваные раны,
да своя болит на погоду;
есть на свете разные страны,
да от той, что узнал, — нет ходу.
Если все их смешаю в кучу,
то и то тебе не наскучу.

8

Оглянись на страну большую —
полоснет пестротой по глазу.

Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу, —
от ее голубого вала
и меня кипеть подмывало.

9

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом;
в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом;
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

10

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,
и на нем, клонясь малахаем,
выплывает дикий кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

11

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Кереметн,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то сот за пять —
пробирается легкий лапоть.

12

Вот из дымного Дагестана,
избочась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,

синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чéчни,
ликом врезался в ветер встречный.

13

А еще — в глухом отдаленье,
где морская глыбь посинела,
тупотят копыта оленьи
под луною окоченелой:
Медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

14

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга, —
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

15

Он лежит под стеною кремлевской,
невелик и негрозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

16

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчовой,
но до льдов, до снежного наста,

им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
говорят о его могиле.

17

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

18

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше, —
ты ее, пригорюнясь, слушай!»

1927

ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ КРИТИКОВ

Товарищ
победоносный класс,
ты меня держишь,
поишь,
кормишь.
Поговорим же
в жизни хоть раз
о содержании
и о форме.
Я тревожной
полон заботой
о своей
стихотворной судьбе:
что ни сделай,
как ни сработай, —
все,
говорят,
непонятно тебе.
Нет для товара
более вредных,
более
отягчающих рук,
чем коротышки,
какими посредник
переплавляет
на рынок продукт.
В литературе
им полный почет,

их не проймет ни насмешка,
ни жалоба,
иxним стараньем
на рынок течет
уйма товара
позалежалого.
Если ж продукт
не совсем заплеснел,
если не вовсе
он узок и куц, —
цедит посредник:
«Такие песни
не потребляет
рабочий вкус».
Откуда знает
чернильная тля,
вымазавшая
о поэзию лапки,
что пролетарию
потреблять,
а что навсегда
оставлять на прилавке?!
Очень волнуют
отзывы эти,
верю —
лишь твоей целине.
Может, будешь добр
и ответишь:
этот стих —
выкрутас или нет?
Может, и вправду,
на старое падок,
ты отдаешь предпочтение
ветоши?
Может, и нужно
чесателем пяток
стать —
как дядек старинных
последыши?
Я не жалуюсь
и не ною.

Знаю:
        посредничья всюду беда.
Только —
            как бы
                    за ихней спиною
хоть иногда
            мне тебя увидать?
Врут!
        Не может случиться такого,
чтобы,
        новым строкам
                    не рад,
сам себя
        в мещаньи оковы
всовывал
        пролетариат.
Врут!
        Это ты меня
                    поишь и кормишь,
свежий
        победоносный класс.
О содержании
            и о форме
ты говоришь мне
                с глазу на глаз!
Положи мне
            на сердце ладонь
и внимательно
            слушай:
видишь —
        бьется на сколько ладов,
то отчетливее,
            то глуше...
Это вовсе
        не жалобный жест,
не желанье
        смутить и растрогать,
и к тебе —
        не расчетливый лжец
прижимается
            локтем об локоть.

Это я не хочу
и боюсь
снизить песню
в ремесленный навык,
разорвать наш
веселый союз,
заключенный
в семнадцатом —
навек.
Положи мне
на сердце ладонь,
чтобы пело оно,
а не ныло,
чтобы билось
на сотни ладов
и ни разу
не изменило!

1926

БЫК

1

Ворочая
тяжелыми белками
кровавых глаз,
свирепствуя,
ревя,
не умолкая,
идет рассказ.
Он землю рвет,
он бьет песок,
которым
затушит жар,
бросаясь
за вертлявым пикадором
на блеск ножа.
Все ждут, все ждут:
когда ж начнет он падать,
скользя в грязи,
и первая
Испании эспада
его сразит.
Она блеснет
язвительным укусом
сквозь трепет лет,
и ноги,
ослабев,
уволокутся
в тугой петле!

2

Откуда ты?
Зачем тебя мне надо,
разбитый хрящ?
Иди сюда,
багряная Гренада,
взвивай
свой плащ!
Вот так и мне
блеснут,
зрачки заполнив,
и песнь
и страсть,
вот так и мне —
в рукоплесканьях молний,
вздохнув —
упасть.
Ведь жить
и значит:
петь, любить и злиться
и рвать в клочки,
пока
глядят оливковые лица,
горят зрачки!
Амфитеатру —
вечная услада
твоя беда...
Иди ко мне,
багровая Гренада,
иди сюда!
Ведь так и жил,
и шел,
и падал Пушкин,
и пел,
пока —
взвивалися горящие хлопушки,
язвя бока.

3

Все ждут, все ждут:
когда ж начнешь ты падать,
еще горящ,
и первая
Испании эспада
проколет хрящ.
Ведь радостнее
всех людских профессий, —
сменясь в лице,
судьбу чужую
взвесив на эфесе,
ударить в цель!

1927

ДУРАЦКОЕ ЗВАНЬЕ ПОЭТА...

1

Дурацкое званье поэта
я не уступлю
никому —
ни грохоту
Нового Света,
ни славе
грядущих коммун.
Смотрите —
какое простое,
веселое слово:
весна!
С ней —
все остальное —
пустое,
с ней —
каждая строчка
ясна.
Сидите,
томитесь,
корпите
на каменном кресле
труда
в надсаде,
в натуге
в нарпите,

а это ведь —
все ерунда!
Вот выйти
и выдохнуть разом
всю гарь
человеческих дней
и метить
расширенным глазом
на то,
что больней и родней.

2

Весна
обжигает мне щеки,
за дальнюю тьму
отступив,
за щелканье счетов,
за щекот
пастушьего свиста
в степи,
за давние дни,
за тетради,
где первые звезды
растут;
весна
меня вновь лихорадит
всей свежестью
первых простуд.
И этим простором
простужен,
об тело
обсвистанных лет,
я жизнь свою вижу,
как в луже
фонарный
дробящийся
свет.

3

Должно быть,
такое же вроде
шершавое тело
у льва,
что так же,
и гол и юродив,
втесался оскалом
в бульвар,
что так же
подброшен под этот
подъезд
и прыжок этажа,
дурацкое званье поэта
гранитным хребтом
сторожа.

4

Дурацкое званье поэта
нельзя уступить
никому —
ни грохоту
Нового Света,
ни славе
грядущих коммун.
Не то
чтобы выгодно очень,
не то
чтобы славы призыв,
но —
слишком беззвучен,
безмочен
наш радио-тусклый
язык!
Я думал,
что — звезды потушит
летучий поток
этих искр,

а это —
придумали слушать
Неждановой
старенький визг.
Не формул
пресветлые диски
вращают
штурвал рулевой,
а те же
мышиные писки
вывозят нас всех
на кривой.
Я знаю,
что лучшее в мире —
над ВЦИКом
полощущий флаг.
Но ты,
стопудовая гиря,
ты, прошлое,
давишь наш шаг.

5

И я
за дешевую цену
в накрашенный
впутался хор.
«На сцену,
на сцену,
на сцену,
на сцену!» —
зовет бутафор.
Как плотно
настегана вата,
как лживая маска
пестра,
как томно скулит
Травиата
со всех
бесконечных эстрад!

И наших-то дней
неуемных
грозовый
и вольный раскат —
ей дадено
втиснуть в приемник,
чтоб стала
такая тоска!
И памятно
вещее слово,
промолнийное
о том,
как — «мертвый
хватает живого»,
прикрывшись
могильным щитом...
В щепу
эти прелые доски!
Седой и слепой
их несет.
Мы сами —
взошли на подмостки
Карпатско-Синайских
высот.

6

А я
наструню
свою рифму,
поставлю на вызов —
весну,
и в ухо далекое
крикну,
и по сердцу
полосану.
И в свежие годы
вольются,
и бодрых поднимут
ребят —

родных сыновей
революций, —
что всех Травиат
истребят.
И это уж будут —
не стансы,
здесь места не станет
игре:
с широковещательных
станций
ударит
громовый декрет!..
Я вижу и чувствую
этот
разыгранный начисто
матч —
меж
званьем дурацким поэта
и розблеском
радийных мачт!

1926

* * *

Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.

Я тебя запомнил дóкрепка,
ту, что много лет назад
без упрека и без окрика
загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую, —
все нежней и все тесней, —
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как вьюга вьючила
груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты — всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1926

МИЛЬТОН

Ночная Тверская — сыра и темна,
пустынно витрин одичалых сияние...
Вся в водочной мути до самого дна,
а люди в ней — водоросли в океане.

Качаются пятна каких-то теней,
отверженных светом. И вид ее чуден,
и вместо железа и камня — на ней
обломки погибших в крушении суден.

И если в случайный отсвет фонаря
ворвется агония гибнущих суток —
не думай о ней и скорее ныряй
меж мокрых и вялых хвостов проституток.

Направо — проулок, налево — тупик,
неслышные лица скользнут и утонут,
едва появившись, едва наступив,
едва прикоснувшись ногою к бетону.

Тогда начинается черный прилив,
сжигает дыхание сизая жажда,
несет и колышет она, охмелив,
по темной пучине качаемых граждан.

Ослизлая ругань с разъязвленных губ:
на ней оскользаются даже копыта;
глаза динозаврьи — на каждом шагу,
и затхлого запаха спертый напиток.

Как будто бы город до нитки раздет,
как будто во тьме истерической вымок,
и только созвездье — клинок и кастет —
сверкает в запястьях никем не любимых.

Тогда, на бегу подбирая шинель,
уродливой шапкой прикрытый, как чайник,
в убийством окрашенной тишине
мильтон поспешает на хрип и отчаянье.

Он в тесный и липкий становится круг,
туда, где — предательство и увечье,
во мглу хулиганов и сиплых старух —
восходит, как месяц, лицо человечье.

И тьма расступается. Город спасен.
Бульвары немеют. Прохожие реже.
Косматый кошмар превращается в сон.
И свет спозаранный по улице брезжит.

1927

ПЯТЫЙ

В нагайки зажатый,
в пули обшарканный,
славься, пятый
тревожный год!
Дыши баррикад
воззваньями жаркими
взятых впервые
с бою свобод.

Ты двинулся сразу
Либавой и Лодзью,
ты флот черноморский
сорвал с якорей.
К такому великому
бури предгрозью
рванулась Россия
с полей и с морей.

Впервые Совет
в Петербурге рабочий.
Газетные полосы
в черной икре.
Проспекты темны,
и трамвай не рокочет,
и трогает волосы
первый декрет.

Печатникам дан
приказ исполкома:
занять типографии,
к бою шрифт!
Стране — он должен
быть растолкован,
ее потрясающий
свежий взрыв.

На кровь, запекшуюся
в манифесте,
на ложь, зажатую
в скулах газет,
ответят четкие
строки «Известий»,
родившиеся
в огне и в грозе.

Они забелеют,
как день на востоке,
они зашуршат
по рабочим рукам,
они разнесут
призыв к забастовке
по самым глухим
страны уголкам.

Когда же, запев
небывалые песни,
Москва оденется
в копоть и жар, —
на Красной, разбитой
снарядами, Пресне
бойцы их прочтут,
от восторга дрожа.

1925

ДЕКАБРЬСКИЙ ТУМАН

1

Петербургский
холодный туман:
это день
или это тюрьма?
Головою
спросонья качни:
это свет
или это ночник?
Дым,
как дерево,
тих и кудряв,
а деревья нависли,
как дым,
будто город —
с того декабря —
побелел
и остался седым.
Здесь прощальное небо
темней,
чем в глазах умирающих —
свет,
от морозного пота
камней,
от испарины
сгибнувших лет.

Будто этого утра
заря,
окровавясь,
осталась стоять;
будто всажен
ей в сердце заряд
и кинжала
вошла рукоять;
будто тот же мороз
по спине;
будто им
не в железо врастать, —
на сведенных руках
цепенеть
кандалам
Чернышева моста.

2

Если ты
начинаешь стареть —
в двадцать раз
здесь седеешь скорей;
в Невский шелест
рассветом влеком,
ты проснешься
уже стариком.
Сдавит сердце
свинцовый восторг:
это марево
или игра —
эти вздохи
дворцов и мостов,
усыпленных садов
филигрань?!
Это — выдумка
или всерьез?..
Здесь нельзя
разобрать никому;

сизой сети
седое сырье,
ледяная
рыбацкая муть.
Ни себя,
ни друзей не щадя,
здесь столетье
сходило с ума,
столбенеть
на твоих площадях,
петербургский
студеный туман.

1926

СИНИЕ ГУСАРЫ

1

Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летят вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
«Руку
на сердце свое
положа,
я тебе скажу:
ты не тронь палаша!
Силе такой
становясь поперек,
ты б хоть других —
не себя —
поберег!»

2

Белыми копытами
лед колотя,
тени по Литейному —
дальше летят.
«Я тебе отвечу,
друг дорогой, —

гибель нестрашная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,
голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу —
сердце мое
влюблено!»

3

Розовые губы,
витой чубук.
Синие гусары —
пытай судьбу!
Вот они,
не сгинув,
не умирав,
снова собираются
в номерах.
Скинуты ментики,
ночь глубока,
ну-ка — вспеньте-ка
полный бокал!
Нальем и осушим
и станем трезвей:
«За Южное братство,
за юных друзей!»

4

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться
и что им беречь?
В них страсть закипает,
как в пене стакан:

впервые читаются
строфы «Цыган»...
Тени по Литейному
летят назад.
Брови из-под кивера
дворцам грозят.
Кончена беседа.
Гони коней!
Утро вечера —
мудреней.

5

Что ж это,
что ж это,
что ж это за песнь?!
Голову
на руки белые
свесь.
Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
синие гусары
под снегом лежат!

1926

Время лучших 1927

ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Время, время,
не твое ли зверство
не дает
ни сил, ни дней сберечь?
Умираем
от разрыва сердца,
чуть прервав,
едва закончив речь...
Умираем
не от слезной муки,
не от давней
раны пулевой, —
умираем,
напрягая руки,
над огромной
ширью полевой.
Как поднять ее
с другими вровень,
как подставить ей
свое плечо,
если
путь ее —
биеньем крови,

а не медом с молоком
течет?
Соль и уголь
залегли пластами...
Как их слить,
в одно соединив,
чтоб сошлись
навек
в одном составе
лязг заводов,
с пошелестом нив?
Сердцу тяжко...
Сердце ведь не камень:
напряги —
и дрогнет вперебой
под кулями,
рельсами,
станками,
под своей
и общею судьбой!
Но не рабским,
подневольным пленом
вызван к жизни
этот тяжкий труд.
Нынче, знаю,
встанет мира пленум
над тобою
вызванном ветру!..
Над огромным,
неподвижным краем
время —
лучшим
сердце утомлять...
Умираем?
Нет, не умираем, —
порохом
идем в тебя,
земля!

1926

ЗАПЛЫВ

У тебя
молодая рука,
пред тобою —
синеет река.
Слушай мудрость
и помни одну:
не стремись
раньше срока
ко дну.
Разве можно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле?
Разве можно
тоской истекать
из-за каждого
пустяка?
Если сердце
и солнце —
теплы,
надо прыгать с размаху
и плыть.
Рассекая вразлет
эту тишь,
ты ли —
ласточкой —
сверху летишь?
Легши на бок,
напрягши плечо, —

ты весь мир
за собою влечешь,
постепенно
волной овладев,
на воде,
на веселой воде...
Предо мной —
половина реки,
на меня
еще лгут старики.
Помню мудрость
и знаю одну:
не идти
раньше срока
ко дну.
Не из прихоти,
не из причуд
я в стихе своем
сальто кручу, —
но мне страшно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле.
Я не дамся
тоски пустяку
виснуть грузом
и ныть по стиху.
Легши на бок,
напрягши плечо, —
я вперед уплываю
еще,
постепенно
волной овладев,
по веселой
и светлой воде.
И за мной,
не оставив следа,
завивает
воронки
вода.

1926

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ!

По тротуарам
народ спешащий —
не народ,
а зверь,
убежавший из чащи.
Толкаются в спину
и в грудь,
пока
сам не начнешь
отжимать бока.
А что касается
наступания на ноги,
так это не люди,
а какие-то танки!
Сначала урезониваешь, —
дескать, ведь
и я не мураш,
и вы не медведь!
А потом,
когда продавлен ботинок,
орешь:
«Осторожнее!
Ты, скотина!»
И так постепенно,
себе не веря,
глядишь —
и сам превращаешься
в зверя;

прешь,
выставляя плечо и локоть,
чтоб встречным
также спешилось плохо;
потом ощетиниваешь
кепку набок
и ну —
сбивать
более слабых,
пока посторонний,
отчетливый мускул
не сбросит с панели
твою нагрузку.
О хулиганстве
всюду вопят!..
А разве мозг
не сверлит вам мыслишка,
что в каждом из нас,
с головы до пят,
его зачатков
хватает с излишком?!
Ведь эти толчки,
и это ляганье,
и эта —
не в очередь! —
пёрка вперед —
начало
деятельности
хулиганьей,
той,
от которой
нас жуть берет.
Тому,
кто сквозь улицу
прет и толкается,
кто локти несет
против всех на весу,
чтоб в худшем ему
не пришлось раскаяться,
необходим
показательный суд.

Не только насилью,
не только праздности,
не только финке,
плевку
и вину, —
небрежности,
грубости
и развязности,
общественность,
объяви войну!
Чтобы штаты хулиганья
не раздулись,
чужих позвонков
и скул не дробя, —
упорядочивать
движенье улиц
необходимо
с самих себя!

1927

УЛИЧНЫЕ СТИХИ

Из-под
          грохотания и рева,
на углу
          Тверской и Огарева,
продираясь
                    к небесам,
                              с трудом
подрастает
                    малолетний дом.
В колыбель Москвы
                              при мне положен,
кожицей
               кирпичною багрясь,
этот дом —
                    уже меня моложе, —
пропитавшегося
                         в пыль и грязь.
В этом
          нету никаких трагедий,
это можно
                    написать в анкете.
Встану на цыпочки —
                              вытянусь —
в завтрашнюю
                         действительность!
Из-за
          грохотания и рева
узок
     переулок Огарева.

И леса,
леса,
леса,
леса...
Свежие,
веселые тесины.
Весь квартал
вприсядку заплясал
под
пилы зудящей
звук осиный.
Это, —
с облаками заиграв, —
вырастает
новый телеграф.
Из московских
каменных реликвий
нет такой
заманчивой другой;
для меня он
самый разveликий,
самый близкий,
самый дорогой.
Оглянись же на него,
прохожий,
на ничто еще
и не похожий,
будущего
напряженный рост;
будущего
неизвестный остров,
будущего
мыслимый лишь остов:
как упрям он,
как он прям
и прост, —
будущих
видений и судеб
будущий
высокий лицедей!

Мы уйдем с тобой

отсюда вместе...

Но уже,

родясь,

играют вести,

вести

из неведомой поры,

той,

в которой

чья-то жизнь иная

взглянет на него,

припоминая

наши пилы,

наши топоры!

1926

ДИСПУТ С КОЛОКОЛЬНЯМИ

Утром,
        в дни отдыха,
                        глаз не раскрывши,
ткань разрывая
                    нежнейших дремот,
слышу и чувствую:
                        будто по крыше
загрохотал
            капитальный ремонт.
Лень —
        ресницы
                    лепит спросонья;
тень —
        в окне
                сыра и смугла,
а по комнате —
                    ноты басовьи
мечутся
        от угла до угла!
Это,
    стекла колебля резво,
сыплется в сон
                    колокольный трезвон...
Так как мне
                все равно не выспаться:
рань —
        а глаз открыт широко, —

я не прочь
от летучего диспутца
с рокотом
сорока сороков.
С детства
в богов ни в каких не веря,
я приближусь
к смертной поре,
твердо зная:
не в адской сере,
а в крематории
буду гореть.
Но,
уважая свободу религии,
я ж
не устраиваю тарарам:
с колотушкой стихов
не прыгаю
над постелями
по утрам?!
Вы отвечаете,
уши дробя:
«Донн,
донн,
донн, —
вона!
Ростом не вышел
равнять себя
с переливами
нашего звона!»
Довод по виду,
конечно, веский,
но, —
не касаясь сущности внутренней, —
разве нельзя
рассылать повестки
с извещением
о заутрене?
Верующий —
поднимайся тихо,

гиблый безбожник —
опять ложись...
Иначе
это ж выходит дико —
вламываться
в мою частную жизнь!
Как ваш облик
ни симпатичен:
главки,
колонки,
оградки,
воротца, —
если ваш звон
не будет потише,
предупреждаю:
я буду бороться!
Стану
свою проповедовать веру:
дескать,
запросы души и тела
в том,
чтобы церкви
сменить на скверы,
как, например,
у Наркоминдела.
Так как
одна мне мысль ясна:
какой бы вид
у вас ни был хороший,
если меня он
лишает сна, —
мне
свое здоровье дороже!
А потому
и в стихах и в прозе
я буду
жаловаться в МУНИ,
буду отстаивать
в Откомхозе

правильность лозунга:
«Не звони!»
Я так приступлю
к учреждениям оным,
так буду стоек
и резвоног,
что
кончено будет
со всяким звоном,
превышающим
телефонный звонок.
Чтоб мне не искать
путей окольных,
подпишем договор
вот какой:
я больше не вспомню
о колокольнях,
а вы —
не громите
мой покой!

1927

РАДИ ЭПОХИ

Тускнеет
непрочной культуры лоск
на отполированной
лысине века...
Читали?
Уже отыскался мозг
доисторического
человека!
Я в грубый
не стану впадать
шарж
о мозговом веществе
Чемберлена.
Меня
и без этого
в пот и в жар
бросает
и подгибает колена.
Ведь вот же:
жил человек в тиши
каменного
периода...
В вопросах ума
и в ответах души
не делая
ложного вывода.
Ловил каких-то там
каменных рыб
на заостренные кремни.

Ходил нагишом и —
все-таки —
влип
в историю
нашего времени.
Товарищи!
Всем нам
живой урок —
к иным временам
прислушаться:
вот я, например, —
пишу,
а перо
к бумаге липнет —
от ужаса.
Пусть в будущем
глазу не видно ни зги
из-за
словесного мелева;
пусть мы вдохновенны;
но есть же мозги,
и надо
их расшевеливать!
Иначе
ведь что же?
Сойдем во мрак,
печатанной строчкой
вылиняв.
А вдруг
какой-нибудь жидкий шлак
возьмет
и зальет извилины?
И дальних эпох
ученый старик,
потратив над ними
ночки,
решит,
что жили в наш век
кустари,
одни
кустари-одиночки.

По мозговым уголкам
проследив
всю путаницу
мыслишек,
запишет:
невежества рецидив
и самомнений
излишек.
И, определив
года без труда,
со вздохом
отложит скальпель,
шепча:
«В них не было, правда,
вреда,
но пользы
тоже ни капли».
Поэты!
К эпохе трясясь от жалости, —
ни в поле,
ни в кабинете —
прошу вас,
очень прошу,
пожалуйста,
мозгами
не каменейте!

1927

ОБРЕЗ

1

Москва —
она, конечно, столица;
от нее
нелегко удалиться.
Но —
утонет поезд в тумане, —
тут
и грань лесной глухомани.
Проснешься,
в просторы глаза уставя, —
в окно тебе глянет
гроза густая;
нов —
наизнанку вывернут —
сад;
зов
к прародителям —
блеянье стад.
И мир,
покоем
и тишью дыша, —
поля,
облака
да кони, —
в любовных руках,
глазах
и ушах

закончен стоит
и законен.
Тут к тебе
все ластится,
и бояться нечего;
голубые платьица
да припев кузнечика:
«...Эти ни-ти
не тя-ни-те,
эти ни-ти
не тя-ни!..
В солнце,
в жите
летние дни!»

2

А ночь
поднимет
космы костра,
звездой в небесах
забрезжит —
и грянет
крылом петушиным
страх
о половецкие
вежи.
Вон как —
яблоко
падает звонко!
Глуше —
об землю
ухает груша!..
И вдруг —
заря
откуда-то сверху,
и гул заряда
в огнях фейерверка!

И поле
враз
обсеяно в искры,
и —
б-бух! —
ответный выстрел
на выстрел.
Каков бы ты ни был
герой и храбрец,
как силой и духом
ни прочен, —
твой век сторожа,
поджидает обрез,
чтоб стал,
как и он,
укорочен.
Какой бы ты ни был
властью храним, —
в потемки
уставясь тупо,
он верит —
последнее право
за ним:
ногой
на голову трупа!

3

В какой голове,
за какою избой,
пришло ему,
сбитому с толку,
обрезав,
обречь
на позор и разбой
свою боевую винтовку?
И как ему
на сердце
это легло:

прошить
человека
зарядом —
как чересседельник
кривою иглой,
как поле
ломящимся градом?
Страны боевой
не сдающий рабкор,
я выстрел из тьмы
принимаю в упор.
Потемки — к ответу!
Обрезы — к суду!
С дороги прямой
все равно
не сойду.
Ведь жизнь течет.
Солнце печет.
Рассвет —
что ни день —
моложе!..
А теням ночным
ведется учет
и будет
предел положен!

1927

НОВАЯ УКРАИНА

В воздухе пахнет
острой гарькой,
поезд подходит,
пыхтя,
под Харьков.
Стой, паровоз!
Выпускай пары —
в Харькове
не был я
с давней поры.
Что в нем нового,
что в нем хорошего?
Может,
он уже
в землю врос
и превратился
в мелкое крошево
от революционных гроз?
Стал к столбу
со словом: «Зупинка» [1].
Сел.
Трамвай идет без запинки.
Веселись,
сердце мое:
вот он,
знакомый
рабочий район!

---

[1] Остановка *(укр.)*.

Здесь,
у этого вот квартала,
сердце —
весны свои коротало.
Здесь,
где к югу гнут небеса,
первый стих я свой
написал!
Домики —
будто те,
да не те же.
Новые стены
на солнце горят:
целый город
рабочих коттеджей
выстроился
в непривычный ряд.
А над ним,
в цветниках
и в листьях,
отдых его
и досуг храня, —
До́ма
рабочих-металлистов
высится
цементная броня.
Вот и все.
О прочем — ни слова я.
Скажут и так:
борзописец од.
Но как же
к тебе,
эпоха новая,
кроме как в оде,
отыщешь вход?
Разве не в тот же
впадая опыт,
по глухим переулкам
везде,
царапают
лапки Церабкоопа

толщу
неперестроенных стен?
Разве не там,
где былые дворяне
спесь
и бахвальство
вдували в усы,
«бывшее» сердце
намертво раня,
вырос
и утвердился
ВУЦИК?
Плюйтесь же,
строя брезгливую мину, —
в ней для стиха
я не вижу вреда.
Новую
я пою Украину,
вам которой —
не увидать!

1927

ЕЩЕ РАЗ

В Москве
множество глухонемых;
хорошо,
что немы они,
а не мы.
Пишу без умалчивания
и без ханжества,
как мне чувствуется
и как мне кажется.
Голос —
будь он не трубная медь
и не касаясь
поэтовой лиры, —
ведь
с голосом трудно
совсем онеметь,
ходить
и только жестикулировать?
У глухонемых
живые глаза;
им, верно,
есть что
порассказать;
жизнеощущение
не менее нашего.
а вот —
ходи и в себе все вынашивай.

Слов удивительных
полон рот,
образов
и впечатлений
уйма!
А высказаться —
язык не берет,
не двигается
и на полдюйма.
Чтоб не затевать
бесполезных полемик —
тебе говорю,
молодое племя:
никак нельзя
человечью речь
во рту оставлять,
без отделки коснея;
ее —
не только
хранить и беречь, —
нужно
уметь обращаться с нею.
Вот почему,
говоря о форме,
я стою
на лефистской платформе
и, под давнишнее
критики ржание,
без формы
не чувствую содержания.
Как ни расширить
его границы,
как ни улучшить
его сорта,
без формы —
оно не сойдет
на страницы
из окоченелого рта!

1927

ПЕРЕГОРОДКА

Трудящиеся
                    сел, городов и весей,
жаждущие и не любящие
                                        перемен
лица
     так называемых
                              свободных профессий
и ты,
     нетрудовой элемент, —
все,
   обитающие,
                    сил не щадя,
на миллиметровых
                         жилплощадях, —
каюсь пред вами
                         тихо и кротко:
мне тоже нужна
                         перегородка!
Так как пар
                    от домашней плиты,
гул голосов
                    и лиц мелькание
в общее
          впечатленье слиты,
схожее
       с отдыхом на вулкане.

В то время
как пишутся эти строки,
мир предо мной
лежит широкий:
в Италии — палаццо,
во Франции — отели;
без канители
и без возни
какую квартиру
снять захотели,
ту —
пойди заплати
и возьми.
Только, пожалуйста,
без злорадства:
«Что, мол,
советский идеалист,
будешь
о новом быте стараться,
если силенки
надорвались?..»
Буду!
Я жил в этом старом быте
кошки шелудивой
забытей;
я от него
и сейчас не ушел;
скверно в нем,
нехорошо...
Слишком знаком мне
давящий балласт
этих дворцов
и этих палацц.
Я знаю, что значит:
пойди заплати,
выговори
подходящую цену...
А не осилишь —
лбом колоти
о капитальную
толстую стену.

Одеяло натянув
до подбородка,
я мечтаю о тебе,
перегородка:
как построим мы тебя
и как сломаем,
обзаведшись
коммунальными домами;
как, за будущее
ухватившись цепко,
возведем тебя,
чтоб разнести на щепки;
как мы,
враз забарабанив по фанерам,
радость выстучим
измучившимся нервам;
как мы выстроим
стеклящиеся стены;
как мы выскребем
засаленные цены...
И ты,
моя любимая,
тревожная страна,
ты встанешь —
вся застроена
и вся осветлена;
и будут наши горести,
как давний детский плач;
и сменят света скорости
рысцу косматых кляч.
А пока...
Товарищ столяр,
составьте смету:
во сколько вы цените
работу эту?!

1927

МОЕ СОЛНЦЕ

Солнце встало.
Я стою на взгорье.
Сосны сыплют
желтою иглой...
Человечье
призрачное горе
тенью в травы
от меня легло.
Люди —
ходят,
смотрят,
помнят имя;
что ж —
живи
да наживай жирок...
А попробуй
не поладить с ними?
Ветер в спину!
Свет везде широк!
И — куда ни гляну
и ни выйду, —
то не тень
полощет по листам —
головою об землю
обида
бьется
и не может перестать!

И одно,
единственное в мире,
краше глаз родных
и слов чужих —
ты,
что встало раньше,
чем в четыре,
и пошло
светиться и дружить.
Напои меня
живой водою,
утренней росою
освежи,
подорожником
да лебедою
раны и ушибы
обложи!
Стань скорее
надо мной в зените,
не оставив
тени на вершок!
Травы подо мной,
дружней звените,
как —
пока о вас я, —
хорошо!

1927

ДНЕПР

Лета, летите,
зимы, неситесь,
бейся о берег,
злой Ненасытец!
Здесь по излукам,
здесь по порогам
плылось когда-то
в синь запорогам.
Чубы за ухо,
вусы за плечи,
рев ненасыти
крыть было нечем.
Разве что — песня,
разве что — удаль
тенью вставала
из гула и гуда!
Только и песню
волны топили
в зареве радуг,
в мареве пыли.
Дням отошедшим
не дано веры.
Мерят очками
синь инженеры:
как по обрывам,
как по стремнинам
грохот потока
свяжут ремни нам;

как,
рассчитавши
силу паденья,
в связи стальные
буйство оденем;
верткие нервы,
сумрачный бормот —
в легкие фермы,
в четкие формы.
Встанут на волны
хитрые лета,
прочной пятою
гидроэлектро.
Пряжу и уголь,
кожу и ситец
синим хребтом
поднимай, Ненасытец!
Было — потоком,
было — паденьем,
стало —
высоким
века
виденьем.

1927

Поэмы

Софрон на фронте

1

На селе Софрон Кренев
первый был политик.
Слово молвите при нем —
только распалите.

О штыке — с ним не толкуй,
и невзвидит свету:
«Мы, мол, мирного полку,
фронтов больше нету!
При крестьянстве при своем
мы без пуль — не плохи.
Все штыки перекуем
в бороны да в сохи!
Почитай-кась, что писал
наш Толстой-то Лева:
всем сияют небеса, —
верно слово в слово!
Речь моя, что ль, не верна,
будешь спорить с ней ли?
В поле больше, чем зерна,
сеяно шрапнели!»

Так себя разгорячив,
бросив шапку о пол,
наш Софрон, многоречив,
дыры в небе штопал.
Право, будто сам Толстой
ластил складно уши.
Даже бабы от холстов
прибегали слушать...

Возражал ему Степан —
из красноармейцев:
«Ну, а как же польский пан —
им шрапнель-то сеется?
Поливает пулемет
в нашем огороде?
Попелуемся — коль мед —
с ихнем благороднем!
Вырастают, вишь, штыки
из земли у шляхты...
Как же быть нам все-таки
там на тех полях-то?
Значит, ешьте мясо вши,
фронты, мол, ослабли, —
склоним, распоясавшись,
головы под сабли?»

Но не слушался Софрон
дельных возражений,
затвердил: «Прикончен фронт,
больше нет сражений!»

На парней — до хрипоты
взлаивался цуцкой:
«Это вас, бодай коты,
напугал Пилсудский!
Это вам по той весне
потрепали шкуру,
вот и грезите во сне
вы теперь Петлюрой!»

Закраснелся тут Степан,
пулеметчик красный:
«Слушай, старый горлопан,
что кричишь напрасно?!
Чья бы правда ни была —
зря чтоб не браниться,
едем вместе из села
прямиком к границе.
Ставлю дом, коня и двор
против пары репок —
коль не встретим белых свор,
коли мир твой крепок».

Смех Софрона пронимал, —
дело все ж не к смеху,
и заклад он принимал:
«Ехать, мол, так ехать!»

2

Сели в поезд. Дан свисток.
С паровоза искры...
Покатили на восток
даже очень быстро.
Сильно был вагон люден, —
тары-растабары...
Через двадцать с лишним ден
прибыли в Хабаровск.

«Раскрывай глаза, Софрон,
не ушибло б по носу!»
Поджимает белый фронт
под крыло к японцу.
Облетают аж листы:
золотопогонники
удирают сквозь кусты,
пулей не догоните.
Не успеют наши встать,
чтоб отбить охоту их,

глядь — ан заняты места
японскою пехотою.

Удивляется Софрон,
бросил недоверие,
видит: еле сдержан фронт
войсками Девеерии [1].
Пылают села, хутора
приморских хлеборобов.
Такой идет там тарарам,
что снять пришлося обувь!
Замолчал противник войн,
но совсем не сдался:
«На востоке спор хоть твой,
однако — едем дальше!»

3

Поезд их помчал на юг —
стал Софрон потише:
в бессарабском, мол, краю
без арапства дышат!

С поезда пошли пешком:
глядь — бояре в шпорах
нагоняют со смешком,
сабель этак сорок.
А навстречу им — валах
(в городе базар был)
мамалыгу на волах
вез в скрипучей арбе.
Вкруг бояре: «Коммунист?»
«Нет, мол, мы — крестьяне...»
«А, крестьяне! Дай-ка хлыст!
Мы вас порастянем!»
«Да за что же?» — «Сколько лей
спрятано под тельник?»

[1] ДВР — Дальневосточная республика.

«Нету лей!» — «Так околей,
бунтовщик-бездельник!»
Подняли бояре вой:
«Жги, руби, наяривай!»
Арбу набок повалив,
в поле бросились волы.
А бояре на конях
знай себе бахвалятся:
«Так и русских, загоняв,
пустим через пальцы!
Наши сабли хороши,
жаль, рубиться не с кем.
Что-то долго ворожит
Таке Ионеску!»

Закручинился Софрон:
«Об заклад не биться б!..»

Да глубоко, вишь, затронута
Степанова амбиция:
«Едем к Польше, старина,
от румынских пашен.
Там — погуще маринад
Францией заквашен».

4

Едут. Видят — масса дыр —
пулеметов дула.
«Это, видишь, в Рижский мир
ветром поднадуло, —
говорит, смеясь, Степан. —
Глянь глазами хворыми:
по-над горкой — польский пан
во французской форме».

«Что ж! Один?!» — Софрон ворчит.
Но в ответ Степан: «Дай
время мне да помолчи —
познакомлю с бандой!»

Красный флаг надел на прут,
помахал над ямой:
вдруг оттуда как попрут
к лесу — муравьями!
«Вишь, один как будто жох
притаился в яме,
а на деле — маршал Жоффр
их садил ульями!
Им нельзя не жить войной
во французских лапах:
интерес у них двойной —
вин и франков запах.
В самолюбии своем
превеликом панском
дважды делал пан заем
франком и шампанским.
Он теперь мечтой томим
укусить нас сзади.
Что ж, подставить нам самим
зад его засаде?»

Замолчал опять Софрон,
почесавши спину...
Со Степаном новый фронт
едут глянуть — к финну.

5

Слезли. Смотрят — что за черт:
дорога Гельсингфорсская
будто лыжами течет —
повсюду лыжи порскают!
Людей как бы и нет на ней,
а лыжи ходят по снегу...
Степан — глядеть попристальней,
Софрон — молиться постникам.

Глядь-поглядь Степан, да — в лес
с дороги, в чащу, в сторону.

Софрон за ним туда ж полез,
в сугроб увяз по бороду.
Лыжи ближе, ближе лыжи,
лыжи лижут лысый лед.
Говорит Степан: «Гляди же,
белой банды перелет.
Вишь, на финне белый ворс,
как на зимнем зайце, —
только лыжи — ерз да ерз —
в глаза одни бросаются».

Лишь сказал Софрон: «Ну, что ж,
надо ж жить и финну!»
Замахнулся финский нож,
да Софрона — в спину.
Так и лег плашмя старик,
шевеля губою,
хорошо — Степан-то штык
нес всегда с собою.
Поднял штык на беляка,
прислонившись к ели,
и — привычная рука —
шварк его в Карелию.

6

Ехать в Латвию не смог
наш Софрон от раны;
воротился — дома слег,
через спину рваный.
Отдышась едва едва,
стал задумчив крепко:
знать, была не дешева
закладная репка.
Понял он, что мир-то — мир
с «демократом» финским, —
зазеваешься ж на миг —
станет дело свинским.

А спросить: «Ну, как Толстой
Лев про войны пишет?»
Он ответит: «Ты постой.
Смейся, да потише.
Мы войною не живем,
не желаем пушек,
но врагам себя живьем
не дадим мы скушать!
Чтобы вновь им в лужу сесть,
зоркость мы удвоим.
Фронтов нет — опасность есть,
помни, красный воин!»

1922

Аржаной декрет

1

С налогами многими было хлопотно,
никак не поймешь их толком.
Какой ни на есть плательщик опытный,
и тот насупится волком.

Продуктов разных штук двадцать шесть, —
совсем истрепались вожжи...
Картофель и яйца, сено и шерсть,
и мед, и овес, и кожи,

Подсолнух, пушнина, птица и лен,
пенька и масло коровье...
Считать, — так, если в счете силен,
и то надорвешь здоровье.

Пока доберешься до мяса —
мозги от думы дымятся.
Прикинул — и снова на отдых наплюй:
совсем из ума посчитать коноплю.

Мотался Сивко, как на при́воде,
шептун же — шипел соседям:
«Декреты писаны криво-де,
так мы на кривой их объедем!»

Конечно, он не шепнул на ухо,
что всем неудобствам — войной разруха;
что думает думу рабочая власть.
когда единый налог можно класть.

Но время было такое горячее,
так нужно было наладить подвоз,
что нечего было плакать над клячею —
республики сердце сохло и мозг.

И вот — зажимай кулацкий рот,
сбивай шептунов затеи:
читай Аржаной декрет, народ,
толкуйте его, грамотеи!

Чтоб было вольготней крестьянство вести
да зря не пылить дороги,
решил Совет Комиссаров свести
к единому все налоги.

Все это к декрету только пролог,
что к сказке бывает присказка.
Но если на присказку ты приналег —
и в сказку не взглянешь искоса.

2

Кто скажет: не сделаешь в будни праздник,
не вываришь дегтя в патоку —
не сложишь в один налогов разных, —
тому задам я загадку.

В больницах сколько калек и хворых?
Припомни, кто был в палате сам.
Вот им то и масло, и яйца, и творог,
пока подвоз не наладится.

А сколько детей, от смерти спасенных,
войной и голодом раненных?

Ведь столько же нужно пайков казенных,
чтоб пахло от щей бараниной.

До осени будет еще идти
налог на масло и яйца,
пеньку и сено придется свезти:
не в раз порядок ломается.

Но только с августа месяца,
когда что сожнется — взвесится;
не будет мозгам мороки —
сведутся в один налоги.

Коли рассудить к примеру —
сходней на одну все меру;
тут не с чем мудрить и путать:
равна эта мера — пуду.

В уме эту меру твердо держи —
одна пудо-мера отвеянной ржи
налога и есть единица...
(А сеешь пшеницу — пшеница.)

Не сеют же где ни пшеницу, ни рожь —
другими продуктами тоже внесешь;
но все исчисляется в пуде,
иных же налогов — не будет.

Какой же годится продукт на замену?
И будет какая ему цена? —
Картофель и мясо, и масло, и сено,
и масличные семена.

Декрет без особого шума
убавит крестьянству трудов:
налога общая сумма —
триста сорок миллионов пудов.

А в прошлом платежном году
по государственной росписи
(в круглых цифрах кладу)
стояло триста восемьдесят.

3

Не брала б друг к дружке зависть...
Народ к пересудам-то падок —
но декрет для всяких хозяйств
устанавливает порядок.

Смекнешь о порядке легко сам,
глаза б только зорче глядели:
по пашням да по сенокосам
налог хозяйства не делит.

Он все переводит в пахоть,
разбив на девять групп.
От групп этих нечего ахать,
народ понимать не глуп.

А смысл разбивки таков:
земля не у всех, ведь, вкупе,
и разно в семье число едоков,
вот каждый и платит налог в своей группе.

Затем, дает, мол, корова удой,
или стригутся овцы —
идет с них налог. А скот молодой
декрет не трогает вовсе.

И здесь не минуть хозяйств разделенных:
в котором овец да свиней с полста,
в ином же — сосет корову теленок,
да и корова не больно толста.

Опять, на четыре группы деля,
по числу овец, свиней и телят,
налог берется погруппно,
в скоте исчисляясь крупном.

А по расчету какому —
дано будет знать исполкому?
Всем за тучею не угоняться,
а иная нависнет — да с градом.

Но не строг
налог,
разделяя сбор по двенадцати
по разрядам,
и высчитает урожай
средний на целую волость,
сравнять чтобы тех, у кого хороша
полоса, у кого же на аршин от колоса колос.

Чтоб не впасть беспонятным в отчаяние,
под четвертой статьей —
примечание:

Озимь, ярь, пар и толока —
все подлежат взиманью налога,
также и всяческие луга,
в декрете сказано, — облагать,
но не в разные сроки — не по-вчерашнему, —
а все в переводе на пашню.

Декрет не давит и на земли порожние,
хозяйства залежные
и переложные.
И с ними расчеты прежнего проще:
вдвойне с посева обложена площадь.

Еще налог настоящего года
в местах кочевого скотовода
берется не с косяков и отар,
а с каждой живой головы скота.

4

Кто зря не гноит навоза в хлеве,
кто сеет вику, кто сеет клевер,
а также и корнеплоды,
у тех — с этого года
налог на посевы такие совсем не взимается:
поддержка тому, кто культурой земли
занимается.

Также, вот, кукуруза — початки:
она в засушливый год
при дельной, привычной посадке
избавит от многих невзгод.

Она — это дознано нынче бесспорно —
и в год, когда никакое зерно не зо́рится,
в запас набирает влагу к корню
и, словно солдат, со зноем борется.

В тех губерниях, где засуха частая,
это может спасти от несчастья.
А у нас тех губерний шестнадцать...
Не хотят с кукурузою знаться, —
непривычное, дескать, растение,
наш, мол, брат к нему не приучен.
А посей — и посмотришь, как тень ее
увлажняет землю без тучи.

Даже если сразу не даст плода,
оправдать себя может она всегда:
на другой, на третий ли год —
глядь, и в засуху поле взойдет.
И колосья нальются грузно —
вот что может спасти кукуруза нам.

И в местах, где ее не сеяли,
или сеют в одной полосе еле,
помогает декрет ею выпытать поле,
вполовину налога взимая, не боле.

Где же голод сжал горло костистой рукой,
установлен налога порядок такой:
урожай ниже среднего —
не берут из последнего,
а начислять велят
налога процент не весь, — пятьдесят;
даже если одонья хорошие —
тридцать процентов все ж будет сброшено.

5

Красная Армия и Красный Флот —
рабоче-крестьянской страны оплот.

Семьям красных бойцов суши и флота
такая выходит льгота:

Кто владеет землей меньше одной десятины
с половиной.
заплатить только четверть налога повинен;
у кого полторы десятины и меньше,
да одних детишек и женщин —
всех работников только имеется, —
ни зерна не возьмется у красноармейца.

(Вишь, декрет как составлен умно̀:
бережет родное гумно.)

Также с тех, кто томится в плену,
или красным живет инвалидом,
говорит наша власть: ни его, ни жену
ни нужде, ни заботе не выдам.
Он защитой стоял Советам —
и налог его вышел в этом.

Тоже с теми, кто только что штык на плуг
заменил и вернулся в родное село,
без него зеленел и желтел его луг,
без него его поле всходило, цвело, —
и его налог не коснется:
пусть при нем его пашня проснется.

Из расчетов налога справедливо выкинуть,
кто попал под пяту Колчаку иль Деникину,
кто убытки терпел за советскую власть,
с тех ненадобно также налога класть.

6

Вот и весь почти Аржаной декрет
о едином натурналоге.
Изучить его никому не во вред,
а исполнить — полегче многих.

Посудите сами: он ясен и прост —
что же проще ржаного пуда? —
а на нем и основан, вишь, весь вопрос
о победе рабочего люда.

Будет сдан налог, и Антантин хвост
подожмется и выпадут зубы.
И — Советы поднимутся в полный рост,
а буржуи пойдут на убыль.

Только нужно запомнить потверже нам,
что к пятнадцатому июля
будет сильно в Россию хотеться панам,
будет ерзать банкир на стуле.

Потому что станет в это число
всем известно заморским странам,
сколько силы России в полях возросло,
сколько дней заживать нашим ранам.

Будут в кольца от злости свиваться ужом,
будет в окна ломиться толпа харь,
потому что пойдет с налогом гужом
по России наш красный пахарь.

Аржаной декрет я списал как умел,
а кто хочет узнать потолковей,
кто какое сомнение держит в уме —
разъяснят тому в исполкоме.

Аржаной же декрет, повторяю, прост,
познакомьтесь же с ним получше:
если хочешь Антанте нажать на хвост —
это самый удобный случай.

1922

Буденный

Часть первая

Детство Буденного

1

Если крепко нужда пристанет,
не отцепишь — хоть ляг да умри.
И мечтал беззeмельный крестьянин
о просторах вольной земли.

А она отступала сказкой,
черноземом жирным блестя...
Много воли у царской да барской, —
сжата в сажень она у крестьян.

На господ и жнешь и боронишь...
Скарб в телегу и кнут в ладонь.
Отступай же в степь, Воронеж:
поселенцы идут на Дон.

Месяцами скрипят колеса,
ободралась посконь репьем,
и — мальчишка беловолосый
наверху, на возу с тряпьем.

2

Но и в вольных степях казацких,
расцвеченных светло и пестро,
должен той же погудкой сказаться
капитала проклятый строй.

Деньги есть — покупаешь хутор,
обновляешь, заводишь дом;
нету денег — арендные путы
оплетают тщетным трудом.

Выворачивай с корнем плечи,
а закончишь каторжный год,
глядь — аренду выплачивать нечем,
на процент не хватает доход.

Так и в Платовской вольной станице,
как в потемках воронежских сел,
не увидит нужде границы
незаможный бедняк-новосел.

3

Отдает Михайло Буденный
кулаку в кабалу сынка.
Горек труд у чужих поденный,
только песня ребячья звонка,

Только песня светла ребячья...
Выше в небо глаза закинь,
в час, когда на Дону рыбачат
седоусые казаки.

На пинок не ответишь лаской,
так и стой, кулачонки сжав,
когда разуму учит Яцкин —
мироед, старовер, ханжа.

Если горло сжимают слезы,
ты сглотни их, дрожа губой.
Слышишь — вешние свежие грозы
разговаривают с тобой.

4

Был мальчонка и смел и сметлив,
цифры вытвердил по весам,
на бумаге хвосты да петли
выводить научился сам.

Вырос. Стал из Сеньки — Семеном.
Для обносков — плечи узки,
не хлестнешь их кнутом ременным,
не щипнешь, шипя, за виски.

Стал опасливей с ним хозяин,
у хозяйки не тот разговор,
но, холодным огнем грозя им,
парень вниз опускает взор.

Все обиды батрацкого детства,
униженья, попреки, пинки —
сердце в холод учили одеться,
мысли ж — молниям стали близки!

Часть вторая

Станица Платовская

1

Силен, славен Сальский округ
удальцами конными,
кроют волны коней мокрых
синими попонами.

Там в запасе держат порох,
сабли блещут начисто,
там живет царей опора —
«вольное» казачество.

Но и там не всем по нраву
царское владычество,
не ему теперь во славу
пики в небо тычутся.

От войны рубцы да шрамы
будут жечь и в старости:
полстаницы — в волчьих ямах
на фронтах осталося.

Мало, мало молотилось
золота пшеничного,
мало, мало воротилось
до столба станичного.

2

Облетели Семена пули,
не коснулся удушливый газ;
в революции радостном гуле
его новая вера зажглась.

Понял он, что не с теми драться,
кто в такой же неволе батрацкой, —
нужно штык назад повернуть,
чтоб своих пауков сковырнуть.

Понял он, что ничто на свете
не изменит рабских времен,
если вместе в солдатском Совете
не сойдутся Петр да Семен.

Что их двое, батрак да рабочий,
могут мира решить судьбу,
если каждый из них захочет
до конца повести борьбу.

Что кровавым дождем Корнилов
революций зальет горнило,
если снова на панский двор
пустят бешенство белых свор.

«Слаще мне на столбе болтаться,
чем мертветь в хозяйском плену...
Нет, не сдастся Совет солдатский,
я, Семен Буденный, клянусь!

Вы великого дела не троньте,
генералы, попы, кулаки!»
И опять батрачина на фронте
отгоняет белых полки.

3

Как над тихим, синим Доном,
в том тревожном лете,
разговаривал с Буденным
перелетный ветер.

Шелестел он: «Слово дай нам,
свей тоску да жалость,
чтобы звоном вновь кандальным
степь не оглашалась.

Дай нам слово, дай нам слово,
кинь — полям и рекам,
чтоб не слышать звона злого
нам за человеком...»

«Знаем, знаем богачово
вековое зелье,
помним, помним Пугачева
черное похмелье.

Ах, когда бы вновь в народе
гнев не смыло бунтом!..
Глянь — за синим Доном бродит
платовский табун там.

У кадетов сыты кони,
каждый шаг их взвешен, —
за кадетами в погоню
где же нашим — пешим?

Тот косяк бы бросить птицей,
дать коней Советам,
первой — Платовской станицей
порешив об этом».

Эти думы над Буденным
тихо шелестели...
Встал, очнулся — тихим Доном
синий ветер стелет.

Часть третья

Первый бой

1

Белых силы поразперло —
подошли к Царицыну;
им глаза бельмом натерло —
Платовской станицею.

Слышит гнусь: Советы рядом, —
аж зубами хлопает;
генеральские отряды
мчатся с гиком по полю.

«Уничтожим, вырвем с корнем,
не потерпим этого!
Засвисти по непокорным,
шашка Семилетова!»

Но, боясь, что целить метко
и рубить как следует

не сумеет Семилетка, —
новый полк вослед дует!

На сто верст запахло гнилью,
падал ветер липовый,
генеральскую фамилью
чуя Гнилорыбова.

На Совет революционный
катят бить — вырезывать.
Эй, скорей садись, Буденный,
на коня на резвого!

Что ж, отступим все покуда, —
сталь о камень тупится,
отойдем на дальний хутор,
от воли ж — не отступимся!

Перед целой белой ратью,
четверо да пятеро,
те по крови, эти — братья
по коммуне-матери.

А в станице суд-расправа,
смерть грозится всякому;
генеральская орава
на расстрелы лакома.

Утром будут казни, зверства...
Конь! Не хрустни веткою!
Не стучи о ребра, сердце,
темнотой — разведкою!..

2

В облака затмился месяц,
ветер вьет пыльцой.
Их всего в отряде десять —
грозных удальцов.

Две винтовки, сто патронов,
но за них — народ!..
И Буденный, повод тронув,
чуть шепнул: «Вперед!»

Обворочены копыта.
Сабля, не звени!
Что свободою добыто —
не сдадут они.

У станичного правленья
чуть коптит фонарь.
Ставит пленных на колени
белая шпана.

Вдруг — стрельба по конвоирам!
Пленным подан знак.
И — «урра!» — над целым миром
не сдержать никак.

Белым чудится, — охвачен
их отряд в кольцо:
это — рубят, реют, скачут
десять удальцов.

Рвутся в ужасе, как зайцы,
в темь офицера;
им вдогонку: «Бей мерзавцев!»
И опять — «урра!»

Пусть же бой тот будет ведом
много лет спустя, —
это первая победа
конницы крестьян!

Из случайного отряда
в темноте ночей —
встанет конная громада
красных силачей.

3

Подступила у белых к горлу месть:
«Отомстим за позор мы сторицею.
Надо с берега красных метлою сместь,
перевешать всех до Царицына».

Но и нам неохота идти на дно,
но и наши отряды слились в одно.
И у белых надежда напрасная:
наступать стала конница красная.

Стало дело тут явственно классово.
Отовсюду за белыми гонятся:
и пехотою жмет Шелкоплясов их,
и Думенко с Буденным — конницей.

Из Котельников и из Жукова
стали белым печенки прощупывать, —
в этот год были хороши лова
у товарища Ворошилова.

Сорок дней подряд шел один отряд,
сорок дней другой огибал дугой;
шли на выручку Великокняжеской,
окруженной бандою вражеской.

Сколько дыр на фронте заштопали!
Словно ветер мчалися по полю
на подмогу, в карьер, к Царицыну,
чтобы враг туда носа не высунул.

Боевая десятая армия
всех славней четвертой дивизией:
командиром Буденный недаром в ней,
всюду первый — по первому вызову!

Часть четвертая

Тяжкая година

1

Девятнадцатый год встал суров и хмур,
был Антантин наемник юрок;
было много в России кулацких шкур,
так еще появился Шкуро.

Взял Деникин Курск, угрожал Орлом,
подвигался Мамонтов к Туле;
изо всех щелей, изо всех берлог
встали белые на ходули.

Генеральский сон полон был Москвой,
распалялся мечтою мозг их:
всю Россию пройдем до конца насквозь,
всей России петля да розги.

В этот грозный час, по сту верст в день мчась,
хоть никто не ждал, смотрят — где взялся? —
вдруг во фланг врагу, в кровяную згу,
наш Буденный корпусом врезался.

От внезапья смолк офицерский полк,
вдруг широкой просекой высияв, —
на прицел не взяв, полегла здесь вся,
распласталась белых дивизия.

А Буденный в лет приказанье шлет:
«Эй, друзья, коней не расседлывать!
Наша жизнь быстра, наша сталь остра —
налетай же на Шкуро подлого!

Не считать нам битв, не читать молитв,
эх ты, мать наша, степь просторная!
Кто счастлив судьбой, — будет помнить бой
до седых волос — под Касторною!»

Вьется пыль столбом, бьются банды лбом:
наш Буденный — видите, сам он там, —
Шкуро мчится прочь, уползает в ночь
на карачках разбитый Мамонтов.

Дрогнул вражий фронт — им везде урон,
их везде выметают начисто.
«Им помощник черт», — убегая в порт,
на Буденного белый плачется.

Белых бив раз сто, взяли вновь Ростов
и прошли Кубанскою областью,
и видал Кавказ, как была ловка,
как сияла армия доблестью.

Смелой грудью стой за советский строй,
на покой свободы не выменив.
Красный клич знамен: «Командарм Семен,
заслужил ты красного имени!»

2

Эй, Махно, не больно ляскай,
не вертися на пути!
Нам на фронт белополяцкий
мимо Харькова идти.

Здесь не надо долго думать,
видно с лету соколов;
соберемся враз под Умань,
вам тачанки поколов.

Польский пан взбесился с жиру,
брюхо мы ему вогнем;
перешедши в бой у Сквиры,
встретим шляхтича огнем.

Дым, глаза жолнерам выев,
их окутает везде,
навсегда закрывши Киев
от непрошеных гостей.

Пусть Антанта нос не тычет,
пальцем высохшим грозя;
в лоб Буденным взят Бердичев,
и Житомир тоже взят.

С недоступных нам позиций
враг грозится.
Вражий фронт пусть оголится
у Галиции.

Алой лавой бурно хлынем
по Волыни.
Не задержит ворог злючий
нас на Случе.

На него мы громы ринем
у Горыни.
Мы его в кольцо у Буга
стянем туго.

Коль советский строй бельмом вам —
кто виною?
Мы сумеем подо Львовом
стать стеною!

3

Суровую память бойца почти!..
От вражеской пули пал начдив,
но умер там не один он
в тяжелую эту годину.

Под грохот орудий, слова ища,
положим в окопе товарища
и выроем шашками сумрачный склеп
тому, кто не мертв, и не глух, и не слеп,
кто в жизни не знал останову —
товарищу Литунову!

Пока у буденновцев бьются сердца,
о нем будет красная память мерцать,

о нем будет память и песня —
всех раньше пропетых чудесней.
Ты жить будешь шумом от наших знамен,
ты жить будешь рядом меж наших имен.
Вперед же, без остановок,
как память велит Литунова!

4

И снова лёт, и снова гром —
не хочет кончить враг добром,
и снова бой на фланге,
и снова дрогнул Врангель.

Укрылся в Крым, укрылся в крепь.
За нами — даль, за нами — степь,
перед нами — гор громады,
но воле нет преграды.

Народ буденновцев послал,
и в камень их нога вросла,
в кремень впились руками,
и вот — сдается камень.

Идут — и конский топот туп,
идут с уступа на уступ.
И красный пламень примут
сады и розы Крыма.

Идут — и пламенны шаги,
все уничтожены враги.
Наш вождь — батрак поденный,
крестьянский сын Буденный.

С десятка сабель начал он,
за эшелоном эшелон,
сбирать в степные травы
отряды красной лавы.

Он крикнул клич, и вот готов
грозящий смыть врагов поток,
и славные походы
огнем влилися в годы!

5

Слу-ша-а-а-й!!!
От Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
Советов.
Рожденному в пламени революции —
орден Красного Знамени
и золотое оружие
с надписью:
«Народному герою
Семену Михайловичу Буденному
за громадные заслуги,
оказанные
революции
и республике».
Сла-а-а-ва!!!

Марш Буденного

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат —

сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем, —
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия — вперед!

1923

Огонь

1

Над кручами сопок
в морской простор
высоко-высоко
глядит костер.
Кому попутен
алый маяк? —
С огнем не шутят
в этих краях.
А если откроют
по мысу огонь, —
горы кровью
потеют кругом.
Снимется с рейда
серый пират:
в селах — скорее —
дома запирать;
женщины — в горы,
дети — в леса,
мужчинам в пору
со скал свисать.
О берег бацнет
пушечный гул, —

и семьям рыбацким
слушать тайгу.
На заливе вспухнет
крейсера тень, —
и детям из бухты
осиротеть.
Не потому ли
в морской простор
над чернью улиц
огонь простерт?!

2

Токует тетерев
на черном суку.
Японский ветер
зовется тайфун.
Нет, это не птица
на синей сосне —
человеческий мнится
облик сквозь снег.
За сопками семьи
приникли к окну.
Выстрел не смеет
в темь полыхнуть.
По веткам трепет...
В тумане морском
японские цепи.
В горы — ползком.
Заходят с тыла,
скользят с боков.
Душа застыла
у рыбаков.
Крик на дороге
прянул и стих...
У горла — широкий
короткий штык.
Острее трепет
первых охот:

черные цепи
пошли в обход.
Токует тетерев
на сухом суку...
Знают ли на свете
такую тоску?

3

Рабочие порта
собрались в док.
Провыл четвертый
тревожный гудок.
Еще не проснулись
высвисты пуль,
но дергает улицы
бешеный пульс.
Шумов артерий
полны дома.
Скоро зардеет
заря сама.
Ноет сирена,
рвутся гудки,
ветер свирепый
берет за грудки.
Вдруг с вокзала
трели «ура», —
сердце сказало:
теперь пора.
Вырвать панель
у них из-под ног,
мчаться по ней,
сливаясь в одно.
Прожектор с рейда
уперся в грудь...
Кто выдумал бреда
такого игру?
Цепи встают,
вокзал окружен,
орудия бьют

с пятисот сажен.
За грузчиком грузчик,
сердце спалив,
бросается с кручи
в черный залив.
Тщетно рабочий
рвется вперед —
«гочкис» на клочья
режет и рвет.
Острее трепет
людских охот:
японские цепи
зашли в обход.

4

В тумане улицы,
в седом, в морском.
Китайские кули
ползут — ползком.
Окрик «цзоуба» [1],
в висок приклад,
кровь через зубы
плевком стекла.
Семьсот убитых,
двести в плену
от долгих пыток
судьбу клянут.
Белогвардейский
веселый шакал
кровью детской
давился — лакал.
Серому пирату
под ноги слег;
им император
японский — бог.
Он и не почуял,
чья жизнь текла,

---

[1] Прочь! *(кит.)*

к серому плечу
метнув приклад;
чей токовал тетерев
на сухом суку;
что разрушил ветер,
японский тайфун.
Но в чужой казарме
запел рожок
о тех, кто пожаром
сердца зажег;
кому стал попутен
алый маяк...
Здесь с огнем не шутят,
в этих краях!

1923

„Черный принц"

Баллада об английском золоте, затонувшем в 1854 году у входа в бухту Балаклавы

1

Белые бивни
бьют
в ют.
В шумную пену
бушприт
врыт.
Вы говорите:
шторм —
вздор?
Некогда длить
спор!

Видите, в пальцы нам
врос
трос,
так что и этот
вопрос
прост:
мало ли видел
матрос
гроз, —
не покидал
пост.

Даже и в самый
глухой
час
ветер бы вынес
слугой
нас,
выгнувши парус
в тугой
пляс,
если б — не тот
раз.

Слишком угрюмо
выл
вал...
Буйный у трюма
был
бал...
Море на клочья
рвал
шквал...
Как удержать
фал?

Но не от ветра
скрипел
брус, —
глупый заладил
припев
трус:
«Слишком тяжелый
у нас
груз.
Слышите стен
хруст?»

Шкипер рванул его:
«Брысь
вниз.
Будешь морочить нас —
правь
вплавь.

Слишком башку твою
весь
рейс
клонит золота
вес».

Этот в ответ:
«Груз —
сух,
море — стекло,
и циклон —
глух,
если ты в траверс
чужих
бухт
станешь, как добрый
друг.

Если ж пушечный
рвет
рот
теплых и ласковых
вод
ход, —
даже речной
уведет
брод
в черный
водоворот.

Пороха с нами
сто
тонн.
В золоте нашем
злой
звон.
Тот, кто дрожа
сторожит
бастион, —
тот же моряк
он.

В тыл ему станет
    наш
    десант.
Тени бредут
    редут
    спасать...
Нет, если есть
    еще
    небеса,
наши слетят
    паруса».

Взрыв рук
    простерт
    за борт.
Темен
    восток
    и жесток.
Бурей рангоут
    всклокочен
    в стог...
А человек —
    листок.

Скалы видали
    в пяти
    шагах,
как человечья
    тоска
    нага,
как человечья
    душа
    строга
даже
    и у врага.

Белые бивни
    бьют
    в ют.
В шумную пену
    бушприт
    врыт.

Кто говорит:
штормˇ—
вздор,
если утес —
в упор?!

2

Старая Англия,
встань, грозна.
В Черное море
пошли грома.
Станут русские
тверже знать
мощь твоих
плавучих громад.

Грянь канонадой
в далекий порт,
круглые ядра
на берег ринь.
Семь вымпелов,
наклоните борт.
Стань в полукружье их,
«Черный принц».

Золотом красным
наполнен трюм.
Взвесил слитки
лорд-казначей.
Много матросских
суровых дум
сдавит оно
в черноте ночей.

«Черный принц»
покидает рейд.
Лорд-казначей
отошел ко сну.

Сон его пучит
    клокастый бред:
руки со дна
    берут казну.

Страшно в трюме
    горит заря.
Ветер, что ли,
    трубит в жерло:
«Дна не найдут
    твои якоря,
канет в бездну
    тяжелый лот».

Хриплый голос
    гремит сквозь сон:
«Лорд-казначей,
    скажи жене, —
скрыли под грузом
    мое лицо
восемьдесят
    саженей.

Лорд-казначей,
    я — не трус.
Помни, помни,
    что я сказал, —
сильные руки
    подымут груз,
бросят в лицо
    твоим внукам залп.

Лорд-казначей,
    не спи, не спи.
Крепче в руке
    сжимай ключи.
Будет Вестминстер
    в пыль разбит
золотом, вставшим
    со дна пучин.

Станет луною
    сверкать гладь.
Золотом будет
    звенеть стих.
Это тяжелая
    дней кладь
гордых потомков
    потопит твоих».

С белой постели
    встает лорд.
Окна в тумане
    мешают спать.
Тих и спокоен
    безмолвный порт.
Волны на Темзе
    не всхлынут вспять.

3

Белые бивни
    бьют
    в ют.
В шумную пену
    бушприт
    врыт.
Вы говорите:
    шторм —
    вздор?
Мало ль их было
    с тех пор?!

Месяца блеском
    облит
    мыс.
Долго ли шли
    корабли
    вниз?

Веет ли в Англии
    наш
    бриз,
переходя
    в свист?

Гор гранитный
    кулак
    груб.
Если скула
    о скалу —
    труп.
Ласково стелется
    поутру
    дым
из больших
    труб.

Мокрою крысой
    скользит
    кран.
Долго лизать нам
    рубцы
    ран.
Выйди же,
    лет прорезав
    туман,
бриг из чужих
    стран!

Грохот подъемных
    цепей,
    грянь.
Прошлое темных
    зыбей,
    встань.
Все просквози
    и промой
    всклянь,
утра синяя
    рань.

Тот, кто погиб,
нам
не враг.
Наши враги
затаили
страх.
Видят: над зыбью
утихших
влаг
вьется советский
флаг.

Это не только
России
цвет.
Это — всем,
кто увидел
свет,
всем, кто развеял
клокастый
бред
ради алеющих
лет.

Кончен спор
дублона
с рублем.
Ветер в песню
навеки
влюблен.
Пойте ж эту
над
кораблем
каждый в сердце
своем!

1923

Автобиография Москвы

Некролог

Я хожу от страха еле жив,
слышу —
разговаривает камень, —
что она,
смертельно затужив,
взвизгнула вокзальными свистками;
что,
вступивши в заговор,
дома
заварили каменную кашу,
двинулись кварталами в туман,
огненными номерами машут;
что пошли Садовые в куски,
в три дуги скарежась над панелью,
и
тошнит
Плющиху
от тоски
под завшонной сношенной шинелью;
что трамваи
забивает кал,
мерзлый кал до вымерших площадок;
что гнетет дитя и старика
оторопь и стужа без пощады.

Наконец —
ни рельсов, ни карет, —
дни обратно повернули, что ли?
Город,
весь построившись в каре,
выпал тяжко на ладони поле.
Он заглохнул, человечий род,
под былого свистнувшею плетью;
Сивцев вражек
да Коровий брод
выпучили древнее столетье.
А полей распластанный удав
тихо дремлет,
кольца расправляя;
тускло меркнет
глаз его — слюда —
под тоскливый хрип ночного лая.

Бульварная

Улицы Мещанские —
девочки несчастные,
улицы Садовые —
ботинки трехпудовые.
Тверская — темная,
идешь бездомная,
без роду-племени
одна по темени.
У вокзала Брестского
слеза от ветра резкого,
от Зубова до Кудрина
щека в метель напудрена,
улица Пречистенка,
пойдем со мной, пушистенький,
улицей Остоженкой
пойдем ко мне, хорошенький.
Брось мне пробовать
гнусавить проповедь,
пойдем — в пивную
на Сенную.

Наследство

Зажатый
в провалах Мясницкой,
в ущелье
у Красных ворот,
ты встретишься
с самою низкой
из всех
человечьих пород.
Не в этих ли самых
провалах,
не в пятнах ли
пятниц и сред
чума
на заре
пировала
глухой
Вальсингамовский бред?
Еще —
неостывшие блюда,
еще —
непропетая песнь,
и город —
весь грязная груда,
весь в язвах
и в похоти весь.
Летящие всхлипы
и всхрипы
коверкал,
и резал,
и рвал
в бульваров
остылые липы
отчаянной
флейты сигнал.
Куда
этот голос обманный,
изрезавший
сердце и слух?

Спасайся!
Беги по Басманной
с толпою
облавленных шлюх.
Вот в этот,
безлюдный и узкий,
где медленно падает снег...
Но
всюду кровавые сгустки,
весь вечер
от них покраснел.
Не надо
надежды на чудо,
повсюду — не песня,
а месть,
и город —
весь грязная груда,
весь в язвах
и в похоти весь.

После нее

Желтобилетная
листва бульварная,
толпой вечернею
теки с куста.
Расчет на золото,
и на товарные,
и на червонные,
и ночь — пуста.
Вконец изруганный
пивными рыжими,
где время пенится,
где гром — гульба,
я тихо радуюсь:
мы все же выживем
с тобою,
стриженый
Цветной бульвар.

Дорожкам хоженым,
тропинкам плеваным
никто не мил из вас:
иди любой.
Времен товарищи!
Даете ль слово нам —
не отступать по ним,
не бить отбой?
Под оскорбленьями,
под револьверами
по переулкам
мы
пройдем впотьмах,
и если — некому,
то станем первыми
под этой
жирной грязи
взмах...
И как не бросила
она меня еще,
с досады грянув:
отвяжись! —
неизменяемая,
неизменяющая
и замечательская
жизнь!

Призрак бродит

Что вы притворяетесь
глухими
каменными
башнями Кремля?
Эти стены
сложены другими,
вам под ними
спин не распрямлять!
Знаете ль
в китайгородской башне,

от тупого сна
осоловев,
травленый,
запухший,
безрубашный
каменный
завелся человек.
Он живет
лишь думами о крысах,
на него
поближе посмотреть:
он бы
пылью башенною высох,
если бы
не вечная мокредь.
Он из жижи хлюпающей
соткан,
он не весел,
как вселенский мрак;
эти стены —
жгучею чесоткой
разъедает он,
построек враг.
Он невидим
и недосягаем,
он трактует вас
на свой манер;
от него,
сконфуженно шагая,
отвернется
милиционер.
Он хрипит:
«На свет бы не родиться!
Встретим ночью —
горло перервем!»
Как же жить,
хранители традиций,
с этим трупным
каменным червем?
Жмись плотней к земле,
Кутафья башня,

завернись
в свой каменный кожух:
я еще громчей
и бесшабашней
про твои причуды
расскажу.
Громозди
грозней
на ярус
ярус,
чтоб зеленой злобой
он припух.
Пусть вокруг
опять вскипает ярость
верящих в бессмертие стряпух!

Ее прошлое

Ему б на свет
не стоило родиться —
да жизнь не пожалела,
позвала.
И день зацвел,
и стала жизнь рядиться
о таинствах
квартиры и стола.
Москва — престол
лабазов и селянок,
смазных
замоскворецких молодцов,
квасных морей
и миткалей каляных,
засунувшая
сердце на засов.
Сплошной
апоплексический затылок,
затекший густо
кровью смоляной.

Воскресный звон
и бряканье бутылок —
гвоздили
гробовою стариной.
И выли псы
по плотным подворотням,
и ржавый
заряжался «велядог»,
когда,
полузамерзшим оборотнем,
он шел
между замоскворецких льдов.
Его скрывали
снеговые хлопья...
Был крепок
сап и сумрак богачов.
И вот —
уже шумел в снегах Отрепьев,
и кровью
умывался Пугачев.
Теперь он что?
Трясучая усталость,
полк
молча умирающих теней.
Единственное,
что ему осталось, —
внориться в землю,
ждать и цепенеть.
Теперь,
своей рукою вдавлен в стену,
он потерял
повольницкую стать;
он понял все:
себе он знает цену, —
из грязи
Разиным —
теперь не встать.
Когда совбур,
скользящий на моторе,
его загонит в щель —
в Каретный ряд, —

ему одна надежда —
крематорий,
что выстроится вскоре,
говорят.

Ее настоящее

Это я —
перекатная голь Москвы.
Это я —
голос ее тоски.
Это мне —
мешают петь и жить
коренастые ее этажи.
Мне не страшен ни Тоуэр,
ни паточно-тошный Версаль;
их свои раскачать готовы
и свалить
сердца.
Но мое
цепенеет и мрет
от зеркальных стуж,
оковавших толпу сирот
на Кузнецком мосту.
Но мое
истекает стыдом
двадцать раз на дню,
прославляя в слове худом
молодню-родню.
Груз поднимем Нью-Йорка
и величье Сорбонн,
только Швивая горка
заколеет горбом.
От Собачьих площадок
немоту переняв,
меж заборов досчатых
будет плыть старина.
Если жизни стоячей
не подрежет пила,

сколько ж будут маячить
и пылать купола?
Это я —
перекатная голь Москвы.
Это я —
голос ее тоски.
Это я, —
подложив плечо
под пудовый строй,
под стеной завывал вечор
с нищетой-сестрой.

Сны

Я не хочу
фальшивой башней быть,
построенной
казенными руками;
от заводской
дымящейся трубы
не повернусь
к кресту под облаками.
Не стану ждать
пришествия времен,
лохмотья дней
сорву и в пламя рину, —
не заменю
изношенных имен
сюсюкающей кличкой:
Октябрина.
Я предлагаю имена:
Завод
Сталелитейнович,
Забой Заботыч, —
они
нигде не вызовут зевот,
стальные указатели
работы!
Но знаю:
посмеются, погалдят

и вырешат —
пустые бредни снятся,
и наскоро
поназовут ребят
по еле видоизмененным
святцам.
Я влипну в стену.
Лягу на тряпье
и стану слушать
каменные шашни.
Железный голос времени
пробьет
на самой дряхлой,
самой ветхой башне.
Рассвет и стук.
Который час?
Входящий!
Голову нагните!..
Но низкий вход —
Коровий брод —
его
к порогу примагнитит.
«Иди за мной.
Ты спал сто лет!
Ты желт и сморщен,
как пергамент.
Иди смотреть,
как этот бред
столетья старого
свергают!»
Зрачки
расщепили огни,
на свет
тянусь руками слепо.
Лишь
старой памяти
магнит
выводит пленника
из склепа.
И свежий
сладкий дух весны

щекочет
сморщенные бронхи,
и губы
белы и красны —
рубцов и язв сплошных
воронки,
и старой шкурой —
злая быль,
и свет
невиданно широкий,
и, грянув,
рассыпаюсь в пыль
на неперейденном
пороге!

Прощальная речь

Тебе бы только кланяться,
грудями оземь плюхать,
замызганная пьяница,
растрепанная шлюха.
Ничьим слезам не верила,
аршином горе мерила,
сбивала в сбитень слабых
на ярах да ухабах.
Плыла опарой блинною
по звону да по рынку,
взрывала ночью длинною
из ржавых труб Неглинку.
Клялась крестом и золотом, —
клянись серпом и молотом!
Казнись губной избою
от хмелю да разбою.
Твоя сплошная кабала
кого от мук спасала,
пока пылали купола,
не золото — сусало?
Клялась грошом и верою, —
клянись шинелью серою,

тугой лабазной пользой
в ногах у сильных ползай.
Тот час пока не бил еще:
тебя мы, взмывши роем,
и вылущим, и вылощим,
и снова перестроим.
И, грозный праздник празднуя
над дней былых тоскою, —
ты станешь нашей, красною,
железною Москвою!

1923—1924

Королева экрана

1

Жизнь отходит, как скорый, —
на коня!
Стисни зубы и шпоры —
нагоняй!
Сердце — порохом ночи
заряди,
жизнь — курьерским грохочет
впереди.
Ты со мной не поспоришь:
я могу
зацепиться за поручнь
на бегу.
Из-за кос этих рыжих
рубежа
я могу и по крыше
пробежать.
Затаясь от погони,
всех скупей,
ты в каком же вагоне
и купе?

2

И волосы вовсе не были рыжими,
и ветер не дул в лоб,
и в жизни —
гораздо медленней движимы
экспресс и конский галоп.
Да и на экране —
все площе и мельче
отбрасывалось
и серей,
но был у механика приступ желчи, —
и лента пошла скорей.
Кружилось, мерцало, мелькало, мчало,
сошел аппарат с ума;
кончалась
и вновь начиналась сначала
не лента,
а жизнь сама!
Валились на зрителя метры и жесты
смешавшихся сцен и чувств...
И думалось залу:
в огне происшествий
не я ли уже верчусь?
Но если механик движенье утроит
в разгаре сплошных погонь, —
от тренья
нагреется целлулоид,
и все зацелует огонь!
Сухая коробится губ кожа,
и, воя, вал встал:
«О, боже, на что же это похоже!
Свет! Свет в зал!»
Но поздно. Уже истлела таперша.
Везде синеет беда!
И факелами живыми от Корша
проборы — в задних рядах.
Пола пополам, и глаза навыкат:
«Вот так ни за что пропал!
Пробейте костями запасный выход!»
Но гарью и он пропах.

Хрипенье и клочья жирного дыма...
И ты,
над всеми — одна,
не сходишь заученно-невредимо
с горящего полотна.

3

И этого не было тоже!..
Но я поднимаюсь дрожа,
и сохнет, сжимаясь, кожа,
как будто и впрямь пожар,
как будто и вправду ночью
мне ветер коня ссудил,
и валятся пенные клочья
с закушенных тьмой удил.
С завязанными губами
увозит тебя сквозь мрак
на радость черной забаве
замаскированный враг.
А я валяюсь раздетым
за этим встречным леском
тяжелым взмахом кастета
с раскроенным навкось виском.
Но мне не больна эта рана —
царапина из-за угла, —
лишь ты б королевой экрана
сумела стать и смогла.
Закручивай ручку круче,
вцепился за поручнь — держись!
Стремглав пролетайте, тучи!
Под насыпь срывайся, жизнь!

1924

Лирическое отступление

1

Читатель, стой!
Здесь часового будка.
Здесь штык и крик.
И лозунг. И пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка
веселою мальчишеской порой.
Не двигайся!
Ты, может быть, —
лазутчик,
из тех,
кто руку жмет,
кто маслит глаз,
кто лагерь наш
разделит и разучит,
а после
бьет свинцом враждебных фраз;
кто,
лаковым предательством играя,
по виду — покровительствует нам,
чья наглая уступчивость — без края,
чье злобное презрение — без дна.
Вот он идет,
уверенно шагая,
с подглазьями, опухшими во сне,

и думает,

что песнь моя нагая

его должна стесняться и краснеть!..

Скопцы, скопцы!

Куда вам песни слушать!

Вы думаете,

это так легко,

когда

до плеч пузыристые уши

разбухли золотухою веков?!

Вот он идет...

Кружи его без счета!

Гони его по лабиринту рифм!

Глуши его,

громи огнем чечеток,

трави его,

чтоб стал он глух и крив!..

А если друг, —

возьми его за локоть

и медленной походкой проведи,

без выкупа, без всякого залога,

туда, где мы томимся, победив.

Отсюда вот —

с лирических позиций,

не изменив,

но изменясь в лице, —

мне выгодней тревожить и грозиться

и обходить раскинутую цепь.

Мы здесь стоим

против шестидюймовых,

отпрыгивающих, визжа, назад;

мы здесь стоим

против шеститомовых,

петитом

ослепляющих глаза.

Читатель, стой!

Здесь окрик и граница.

Здесь вход и форт,

не конченный еще.

Со следующей он открыт страницы.

И только — грудью защищен!

2

Ни сердцем,
ни силой —
не хвастай.
Об этом лишь в книгах — умно!
А встреться с такой вот, бровастой,
и станешь ходить как чумной.
От этой улыбки суровой,
от павшей
до полу
косы
порывами ветра сырого
задышит апрельская синь.
От этой беды
тонколицей,
где
жизни глухая игра,
дождям и громам перелиться
через горизонтовый край.
И вскипет
от слова простого,
примявшего вкось ковыли,
курьерская ночь до Ростова
колесами звезд шевелить.
Ничем —
ни стихом,
ни рассказом,
ни самой судьбой ветровой —
не будешь так скомкан
и разом
распластан вровень с травой.
Тебе бы — не повесть,
а поезд,
тебе б — не рассказ,
а раскат,
чтоб мчать,
навивая на пояс
и стран
и событий каскад.

Вот так
на крутом виадуке,
завидевши дальний дымок,
бровей загудевшие дуги
понять
и запомнить я б смог.
Без горечи, зависти, злобы
следил бы
издалека,
как в черную ночь унесло бы
порывы паровика.
А что мне вокзальный порядок,
на миг
вас сковавший со мной
припадками всех лихорадок,
когда я
и сам
как чумной?!

3

Скажешь:
вона, заныл опять!
Ты глумишься,
а мне не совестно.
Можно с каждой женщиной спать,
не для каждой — встаешь в бессоннице.
Хочешь,
вновь я тебе расскажу
по порядку,
как это водится?
Ведь каким я теперь брожу,
и тебе как-нибудь забродится.
Все вокруг
зацветет, грустя,
словно в дальние страны едучи;
станет явен
всякий пустяк
каждой поры в лице и клеточки.

Руку тронешь —
она одна
отзовется
за всех и каждого,
выжмет с самого сердца дна
дрожь удара
самого важного.
Станешь таять,
как снег в воде, —
не качай головой, пожалуйста,
даже если б ты был злодей,
все равно — затрясет от жалости.
Тьма ресниц и предгрозье губ,
запылавших цветами в Фаусте...
Дальше —
даже и я не смогу
разобраться в летящем хаосе;
низко-низко к земле присев,
видишь, — вновь завываю кликушей;
я б с размера не сбился при всех,
да язык
досиня прикушен!

4

За эту вот
площадь жилую,
за этот унылый уют
и мучат тебя, и целуют,
и шагу ступить не дают?!
Проклятая тихая клетка
с пейзажем,
примерзшим к окну,
где полною грудью
так редко,
так медленно
можно вздохнуть.
Проклятая черная яма
и двор с пожелтевшей стеной!

Ответь же, как другу, мне
прямо, —
какой тебя взяли ценой?
Молчи!
Все равно не ответишь,
не сложишь заученных слов,
немало
за это на свете
потеряно буйных голов.
Молчи!
Ты не сломишь обычай,
пока не сойдешься с одним —
не ляжешь покорной добычей
хрустеть,
выгибаясь под ним!
Да разве тебе растолкуешь,
что это —
в стотысячный раз
придумали муку такую,
чтоб цвел полосатый матрас;
чтоб ныло усталое тело,
распластанное поперек;
чтоб тусклая маска хрипела
того,
кто тебя изберет!
И некого тут виноватить:
как горы,
встают этажи,
как громы,
пружины кроватей,
и —
надобно ж как-нибудь жить!
Так значит —
вся молодость басней
была,
и помочь не придут,
и день революции сгаснет
в неясном рассветном бреду?
Но кто-нибудь сразу,
вчистую,

расплатится ж
блеском ножа
за эту вот
косу густую,
за губ остывающий жар?!

5

От двенадцати до часу
мне всю жизнь к тебе стучаться!
Не по жиле телефона,
не по кодексу закона,
не по силе,
не по праву
сквозь железную оправу.
Даль весенняя сквозная!..
Я тебя другою знаю,
я тебя видал такою,
что не двинуться рукою.
В солнце, в праздник,
в ветер, в будень
всюду влажный синий студень.
От двенадцати до часу
мне сквозь мир к тебе стучаться!
Обо все себя ломая,
сквозь кронштейны,
сквозь трамваи,
сквозь насмешливые лица,
сквозь свистки и рысь милиций,
сквозь забытые авансы,
сквозь лохмотья хитрованцев,
сквозь дома
и сквозь фиалки
на трясучем катафалке.
От двенадцати до часу
навкось мир начнет качаться!
Мир суровый, мир лиловый,
страшный, мертвый мир былого,
мир, где от белья и мяса

тучи тушами дымятся,
где стреляют, режут, рубят,
где губами
жгут и губят
теми ж,
ими же болтая
об эпитетах в «Полтаве».
Я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,
я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хорошее...
Это все должно начаться
от двенадцати до часу!

6

А покамест
сбивают биржи
с гранитных катушек, —
знаю:
эти вирши
задушат
пухом подушек;
и пока,
чадя Шейдеманом,
разлагается
в склепе
Стиннес, —
поворачивают вновь
дома нам
спины гостиниц.
Что мне скажет
о Макдональде
прямой провод,
если снова тоска моя
на лето
осталась без крова!

Пусть в Германии лица строги,
и Болгария в прах разбита.
Чем
у нас
отдаляются сроки
переплавки быта?
Мне
не только одни наркомы
из-за мрака ложи,
мне — все лица в Москве знакомы
и, как трупы,
схожи.
Пусть дневник мой
для вас анекдотом
несерьезным будет,
но из вас переделался кто там,
серьезные люди?!
Почему бы из-под подушек
вам не вынуть ухо?
Неужели оно задушено
веков золотухой?
Если так,
то довольно шуток:
перед пузырями, —
гной течет, заражен и жуток, —
мы не козыряем!
Нет, довольно хлопать в ладоши,
обминая пузо!..
Что мне спеть теперь молодежи
из притихших вузов?
Мелких дел —
не поймать на перья,
в их расщеп
проползло столетье;
долго выживет морда зверья,
если сразу не одолеть ее.
Мой дневник!
Не стань анекдотом
лорелейной грусти, —

если женщину выкрал кто-то,
он ее не пустит.
Он забьет,
            измучит,
                        изранит
и сживет со света,
в жизни
          или на экране, —
все равно мне это!
И она загрустит,
                    закрутит,
переменит званье,
разбазарит глаза и груди
и в старуху свянет.

7

Где же жизнь,
                где же ветер века,
обжигавший глаз мой?
Он утих.
          Он увяз, калека,
в болотах под Вязьмой!
Знаю я:
          мы долгов не платим
и платить не будем,
но под этим истлевшим платьем
как пройти мне к людям?
Как мне вырастить жизнь иную
сквозь зазывы лавок,
если рядышком —
                    вход в пивную
от меня направо?
Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено —
                    рыжим цветом,
а не красным, —
                    время?!

8

Нет,
ты мне совсем не дорогая!
Милые
такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
зубы сжав,
их молча забывают.
Ты глядишь —
меня не понимая,
слушаешь —
словам моим не веря,
даже в этой дикой сини мая
видя жизнь
как смену киносерий.
Целый день лукавя и фальшивя,
грустные выдумывая штуки,
вдруг —
взметнешь ресницами большими,
вдруг —
сведешь в стыде и страхе руки.
Если я такой тебя забуду,
если зубом прокушу я память —
никогда
к сиреневому гуду
не идти сырыми мне тропами.
«Я люблю, когда темнеет рано!» —
скажешь ты
и станешь как сквозная,
и на мертвой зелени экрана
только я тебя и распознаю.
И, веселье призраком пугая,
про тебя скажу,
смеясь с другими:
«Эта —
мне совсем не дорогая!
Милые
бывают не такими».

9

Убегая от слова прямого
и рассчитывая
каждый шаг,
сколько мы продержались зимовок,
так называемая
душа?
Ты училась юлить
и лизаться,
норовила прожить без вреда,
ты во время мобилизаций
притворялась
идущей в рядах...
И, когда колыхавшимся газом
плыли беды,
ты, так же ловча,
опрокинув и волю и разум,
залегала в дорожный ровчак.
В ряд с тобою был так благороден,
так прозрачен и виден на свет
даже серый, тупой оборотень,
изменяющий в непогодь цвет.
Где же взять тебе плавного хода,
вид уверенный,
явственный шаг,
ты, измятый изломанный «кодак»,
так называемая
душа?
Вот смешались поля и пейзажи,
все, что блеск твоих дней добывал,
и теперь —
ты засыпана заживо
в черной страсти упавший обвал.
Что ж,
попробуй, поди, прояви-ка, —
в этой пленке нельзя различить,
чьи глаза, чьи слова там навыкат,
чьих планет пересеклись лучи.

Как узнать там твой верный, любимый
облик жизни —
большой и цветной?
Горя хлористым золотом вымой
расплывающееся пятно.
Если песням не верят, —
то прочь их,
слепорожденных жалких котят.
Видишь:
спрыгнуть с нависнувших строчек,
как с карниза лепного, хотят.
Если делаешь все вполовину, —
разрывайся ж
и сам пополам.
О, кровавая лет пуповина!
О, треклятая губ кабала!

1924

Электриада

Кипи, мое новое горе,
моя моревая слеза!
Ссекай мое сердце под корень
и разум под корень срезай!

Первая песня

Вот бы мне
запеть теперь такое,
чтоб сердца
рванулись из рубах,
чтоб и сам
лишился я покоя —
лишь слова б
светились на губах!
Я не с ветру,
не с далеких Ладог,
не с полярных
красно-синих льдин
отражу
сиянье этих радуг,
вспыхну
мертвым инеем седин.
Дорогое море
голубое,
помоги мне
выпенить прилив,
залпами
взыгравшего прибоя
каменное время
прострелив.

Чтоб
не умер я
и как бы умер
и,
родившись,
свет расцеловал
и из самой
сумрачной зауми
вылепетал
новые слова.
Что ты,
море,
лапы распростерло,
зацепившись когтем
за Машук?
Крепче
захвати меня за горло. —
высоко я голос
заношу!
Волны
все лицо заморосили...
Век ли, что ль, лизать
теленком
соль?
Выследить бы
тягу лунной силы,
бросить
на тугое колесо!
Стой же, ветер!
Ты бежишь, как влага,
пухнешь
и густеешь
под грозой.
Не игрою
паруса и флага —
прессом бы
сдавить тебя в мозоль!
А земле,
сверлящей безграничье,
пляшущей
по звездному ручью —

приказать бы
в нашу лямку бычью
эту силу
перевить
ничью.
Сам —
корабль, косящийся от крена, —
я
доверху
сердце нагрузил
и несу
сквозь гром,
сквозь блеск
из плена
снасть костей
и путаницу жил.
В непропетой юности
отчаясь,
волю
вечным бегом иступив,
вот —
бортами пьяными
качаюсь
на тяжелой
якорной цепи.
Я — корабль,
и я ж — матрос и штурман,
груз
тяжеловесного зерна,
павший в трюмы
урожаем бурным,
вписываю
в судовой журнал.
Стройтесь над бортами,
комсомольцы!
«Капитан!
Когда же курс левей,
к берегам
еще безвестной пользы,
где стальной
играет
соловей?»

Вторая песня

«Капитан! —
сказал я. —
Год от году
все яснее
пламенеет мир.
Если мы
еще прибавим ходу,
скоро ль нам
засветится КаИР?
Нет, не тот,
резной и раскаленный,
с тонким полумесяцем
вверху,
что,
зайдя за океан зеленый,
прежнему
салютовал мирку.
Вы подошвой вылощили кубрик:
сидя лучше слушать, —
вот скамья...
Красный
Интернационал
Республик —
вот кого
зову КаИРом я.
Если мы его
теперь не сыщем,
не увидим
четкий берег въявь,
что нам ждать,
измученным и нищим,
новым светом
навек засияв?»
Капитан ответил:
«Все мы — братья,
а твоих
мне не понять речей:
я, моря пройдя
в десятикратье,

не встречал
каировых лучей.
Может быть,
на землях давней Трои,
может, в Дувре,
может, в Гавре
мы
сами все
должны его построить
рядом зданий
светлых и прямых.
В море —
видишь —
тоже есть миражи,
ты меня
движенью не учи...
Слышишь ли
сирены голос вражий,
что вздыхает
буем из пучин?
Здесь, в тумане,
каждою саженью,
каждой пядью
угрожает риф.
Будем ждать,
застопорив движенье, —
солнце встанет,
море озарив!»
«Нет, —
сказал я, —
латок мало дырам,
если вся одежда
сбилась с плеч.
Завтра
сам я стану командиром,
если в штиль
нам суждено залечь!»
И матрос,
стоявший у бизани,
чуть шепнул мне:
«Погоди, браток,

если
я не очень буду занят,
вечером
поговорим про то».
И когда
на борт свалился вечер
и звезда
забилась на воде,
я каленым словом
переметил
всех моих
товарищей в беде.

Третья песня

Дуло —
это самый свежий довод,
хоть и жалко стало
старика,
но сильней,
чем жалостью, готово
сердце было
бить о берега.
Вы,
забытых схваток ветераны,
знаете ль,
что изо всех скорбей
всех больней и глубже
эти раны,
что нанес
товарищ по борьбе?!
Уголь выл
и бунтовался в топке!..
Мы
такие развели пары,
что за нами
море в белой штопке
вихрилось
минуты полторы,

Развевались
яростные флаги,
алые
пылали вымпела, —
над весельем
моревой ватаги
все красней
хотелось им пылать.
Мы пустили в рокот
все динамо,
мы к бортам снесли
рефлектора.
Прыгая
фосфорными тенями,
мимо мчались
моря хутора.
Буревое море
было радо
на бугристом
сумраке сыром
раскачать тебя,
Электриада,
легким
пламенеющим пером.
Наш корабль
единственного бега
шел встречать
Америку веков,
и дрожала
искристая Вега
компасом
на мировой рекорд.
Все,
что в жарком сердце
мы копили, —
свет и грусть,
отчаянье и злость, —
все
вскипевшей радугою пыли,
песней моревою
разнеслось:

«Яхту «Нарвал»
ветер сорвал
сразу со всех якорей.
С бурей вдвоем
в шлюпке встаем.
Пенься же, песня, скорей!
Если теперь
громко не петь —
взвоет белугою страх.
Немы — одни
бревна на дне,
шлюпки, разбитые в прах.
Мы же встаем
с бурей вдвоем,
воли и ветра сыны.
Грянь с якорей,
говор морей
самой высокой волны!»

Четвертая песня

День настал,
от низких туч не вымыт.
Мы проснулись:
даль была сыра;
с двух бортов к нам стали
часовыми
серые чужие крейсера.
Сна ль ресницы наши
не согнали?! —
Три зрачки
и протирай, рука:
все — в поднятом
сумрачном сигнале,
к полной сдаче
боевой приказ!
В рубке —
бел двадцатилетний лоцман;
палуба —
предбурье тишины:

«Братья!
Нет надежды нам бороться, —
мы со всех сторон
окружены».
Голос снизу:
«Чья же мы добыча?»
Сверху стон:
«Эскадра старичья!»
И опять
противников обычая
палуба
речами горяча:
«Если это так,
то будь он проклят,
этот мир,
сегодня, встарь и впредь,
коли в нем
мошенники да рохли
будут лишь
плодиться и добреть!
Будь он проклят,
день тупого пота!
Пусть конец
и
ночь придет скорей,
если мы —
лишь только позевота
на его
безрадостной заре.
Снова ли идти
навек в наймиты,
ночь
не отличая ото дня?..
Разве мало
в трюме динамиту,
чтобы
сразу дыбом все поднять?!»
Вымпела
приспущенные, мрейте,
сумерки
игрою расцветив, —

мы на вражьем
зажигаем
рейде
порохом
пропитанный фитиль!

ПЯТАЯ ПЕСНЯ

Звук забылся,
боли было мало...
Сразу
полдень омглевал и мерк,
да горячим ветром
обнимало,
сламывало
и бросало вверх.
Веерами
брызнувших молекул
нас,
в туман морской переселив,
в одного
воздушного калеку,
дунув,
превратил пироксилин.
Но пока
метало наши клочья
(солнцем пахла
пороха теплынь),
видели мы,
сдвинувшись над ночью:
рейд и город
стали также плыть.
И гремели
берега от гуда,
дальним эхом
откликаясь в мир,
и земли
вздыхающая груда —
словно ветер,
хлопнувший дверьми...

Вот то место,
где стоял когда-то
сумрачный
и тягостный гранит,
вот то место.
Огненная дага
памяти
о нем не сохранит.
И лишь ты,
моя Электриада,
родина единая моя,
брызг льдяного водопада
словно
сохранишь
горящие края.
И лишь ты,
не знающее тленья,
ты,
кому душа была верна,
новое
литое поколенье,
прочитаешь
судовой журнал.
В этих строках,
писанных под ветер,
рвущихся
сквозь немоту и боль,
ты узнаешь тех,
кто на рассвете
пил
волны кипящей
йод и соль.
И когда
пустых веков громады
выполнишь,
как ветер небеса,
помни:
я, беглец с Электриады,
эти строки
для тебя писал.

1924

Двадцать шесть

Памяти павших

Вступление

Темен Баку,
                дымен Баку.
Отчаянье.
            Ночь.
                  Нефть.
Решетка у лба
                  и пуля в боку —
для тех,
          кто не скрыл гнев.
Фонтаном встает
                    восемнадцатый год,
беспомощен и суров.
Британская Индия
                      маршем шлет
своих офицеро́в.
Им нефть нужна,
                    им нужен хлопо́к,
а хлыст и поход —
                      их страсть...
Но пуще —
             хочет английский сапог
советскую смять власть.
Тарантул зол,
                 верблюд зобат,
шакала шкура — сера...

По их путям
                    идут в Ашхабад
английские офицерà.
Москва далека,
                      Кавказ высок...
Не им позволенья просить, —
они хотят
               кара-кумский песок
возделать и оросить.
Затем они
               и пришли сюда,
чтоб,
      чуть шевельнув бровь,
узнать,
          пресна ли у моря вода
и солона ль кровь.
Полковник спит,
                      и спит капитан,
уснул генерал-старик;
им снится,
               как плотно давит пята
раба встающего лик.
Спокойно спи,
                    офицер,
                           засыпай,
размеренно ровно дыши.
Тебя охраняет
                    твой раб — сипай —
и здесь,
          в закаспийской глуши.
А в черном Баку,
                      в дымном Баку —
отчаянье.
               Ночь.
                    Нефть.
Винтовка у лба
                      и пуля в боку —
для тех,
          кто не скрыл гнев.
Не спи, товарищ,
                      не спи, подожди,

глазами
буравь мрак.
Зачем не с тобою
твои вожди,
когда
подступил враг?
Они за решеткой
заключены.
Их мало.
Их двадцать шесть.
И ночь не расколет
своей тишины —
в Москву
донести весть.
Москва далека,
высок Кавказ,
на море
надежда плоха...
Но
от советской власти отказ
врагам ее
не услыхать!

Путь

Белая рука меньшевика
мягко стелет,
только жестко спать.
У эсера
поступь широка,
да привык шагать он ею
вспять.
Вот и нет
советского следа,
вот и власть рабочих —
не в чести,
вот Баку
и надо покидать,
убегая,
двадцати шести.

Отчего ж не встанет
в грозный ряд,
отчего ж винтовок не сожмет? —
Он обманут,
пролетариат,
залил мысли
меньшевистский мед.
Пароход
от берега бежал,
уходил во мглу
Азербайджан.
Далеки
на Астрахань пути,
топлива не хватит
им дойти.
Прямо —
через море —
Красноводск.
Лица у рабочих там,
как воск.
Эй, матрос!
Не дело — сходни класть
к пристани,
где нынче белых власть.
Не пройдет
сквозь сети осетер:
моря хищник
злобен и хитер.
Не ступай на сходни,
большевик:
не уйдешь отсюда
ты в живых!
Нет! Ступили!
Поднялись! Идут!
От голов их
не отвесть беду.
Не минует
вражеская месть
лучших,
самых сильных —
двадцать шесть.

Смерть

Телеграф в Красноводске
стучит,
стучит:
«Передать... в эту ночь... от тюрьмы... ключи...
комиссаров взять... погрузить в вагон...
«Перевал» — «Ахча-Куйма»... Перегон...»
В эту ночь весь край
в сон погружен,
но не спит капитан
Реджинальд Тиг-Джонс.
В окнах английской миссии
блещет свет,
в канцелярии миссии
ждут ответ.
И не спят шакалы
в песках степей,
слыша жалобный
перезвон цепей;
их клыки стучат,
их глаза горят,
дыбят шерсть они,
слыша залпов ряд.
Ничего не видать
в эту злую ночь.
Безоружным
никто не придет помочь.
Но мы знаем —
не дрогнет голос ничей,
о пощаде
не будет молить палачей!
Телеграф в Ашхабаде
стучит,
стучит...
Загораются
новой зари лучи.
Капитан Тиг-Джонс
тушит свет:
в канцелярии миссии
есть ответ.

Кто предал

Кто по тебе не горевал,
Ахча-Куйминский перевал?
Здесь каждый взор —
суров и строг:
здесь цвет коммуны в землю лег.
Он черные пески твои,
пустыня,
кровью напоил.
И не стереть с лица румян
и в землю в страхе не зарыться
тому,
кем предан Шаумян,
тому,
кем предан Джапаридзе,
кто затаился,
кто молчал,
кто вас обрек
на мрак и гибель,
кто у тупого палача
из рук оружие не выбил;
тому, кто знал,
что в этой тьме,
что в этой ночи
может крыться,
кто в это время
мог и смел
с английской миссией мириться!
Вам нет имен!
Вам нет имен!
И нет для вас рукопожатья.
Ваш общий список заклеймен
брезгливым словом:
«Соглашатель!»
Но не стереть с лица румян
и от проклятия не скрыться
тому,
кем предан Шаумян,
тому,
кем предан Джапаридзе.

Кто убил

Ты гордишься
военной выправкой,
капитан
Реджинальд Тиг-Джонс!
Ты забыл,
как, все слезы выплакав,
каменели глаза их жен.
Ты теперь
красуешься в Лондоне,
ты — на первых занят ролях.
Нет надежней
и верноподданней
офицера у короля!
Беспокоиться
нет тебе поводов,
ты надежной покрыт рукой:
все орудия
мощных дредноутов
охраняют твой покой.
Ты скрестил
руки холеные,
ты пригубил
полный бокал.
Вспомни:
ночью
кровью соленою
так же
вымочил пасть шакал.
Но не всё
королевской оперы
украшать тебе — пурпур лож,
и когда-нибудь
смуглые докеры
приведут тебя в пот и дрожь.
И тогда,
в последнем отчаянье,
вскинув браунинг
у виска,

ты поймешь
глухое молчание
черной степи
о павших в песках.

Заключение

Эта песня писана
в вашу честь,
эта песня о вас,
двадцать шесть.
Эта слава,
знаю, еще слаба,
это — голос
проснувшегося раба.
Но ничей сапог
не наступит вновь
на пролившуюся
вашу кровь.
И в родном Баку
вы погребены,
ваши кости —
гранит свободной страны.
И мой вольный стих
вашу смерть хранит,
как венок,
ложась на ее гранит.
Боль и гнев круша,
ночь и смерть круша,
ваш последний шаг —
все звенит в ушах.
Той стране не пасть,
той стране цвести,
где могила есть
двадцати шести.

1925

Свердловская буря

1

Я лирик
по складу своей души,
по самой
строчечной сути.
Казалось бы просто:
сиди и пиши,
за лирику —
кто же осудит?
Так нет —
нетерпенье!
Взманило вдаль,
толкнуло к морю,
к прибою.
Шумела и пенилась лирика:
«Дай
стеной мне встать
голубою!»
Она обнимала,
рвала с корней,
в коленах
стала пошатывать
и с места гнала,
и вела верней
любого колонновожатого.

Как на море буря,
мачтой маша,
до слез начинает
захлестывать,
так —
лирика это или душа —
бьет в борт
человечьего остова.

2

Нас бури несли
или снилось во сне?
Давно не видали
их мы.
Казалось:
лишь горы начнут яснеть —
и взмоют прибоем
рифмы.
Доехал до моря, —
но море не то.
Писать ли портрет
с такого?
Ни пены,
ни бури...
Молочных цветов.
В туманы —
берег окован.
Постыл и невесел
курортный режим,
к таким приучает
рожам,
что будто от них мы —
слегли и лежим
и на ноги встать
не можем.
Меж пухлых телес
застревает нога.
Киты —
по салу и крови...

Таких вот —
не смог продырявить наган,
задохся
в верхнем покрове.

3

От трестовских спин
и от спецовских жен
все море
жиром замаслено.
А может,
я просто жарой раздражен,
взвожу на море
напраслины?
Но нет:
и оно,
наморщив гладь,
играя с солнцем
в пятнашки,
нет-нет да и вздрогнет,
нет-нет да и — глядь
с тоской
на вздутые ляжки.
И солнца
академический лик,
скользя
по небесной сини,
нет-нет да и вспыхнет,
и влажный двойник
в воде его —
голову вскинет.
А впрочем, что же,
курорт — как курорт,
в лазуревой хмари
дымок.
И я —
ни капли не прокурор,
и пляж —
не скамья подсудимых.

4

Но вот,
чугунясь загаром плеча,
нагретым
мускулом двигая,
над шрифтом
убористых строк Ильича —
фигура чья-то
над книгою.
Я лежмя лежал —
и не знал, что — гроза,
я встать и не думал
вовсе...
И вдруг
черкнули синью глаза:
упорист зрачок
в свердловце.
Ага!
Загудел над снастями шторм...
Но с виду —
все было спокойно.
И мы говорили
про МОПР и про корм,
про колониальные
войны.
Потом посмотрели
друг другу в глаза,
и дрожь
от земли до неба
стрельнула —
и ходу не стало назад,
и нэп —
как будто и не был.

5

Он слово сронил —
и пошла колебать
волна за волною
снова...

И в слове —
не удаль и не похвальба, —
пальба была
в каждом слове.
И гребнями взмылился
белый отряд,
и в сердце —
ветра колотье;
и мы ночевали
три ночи подряд,
друг друга
грея в болоте.
От стужи
рассветного неба
дрожа,
следили мы
месяца смену;
камыш мы ломали
замест фуража
и пили
болотную пену.
И дыбил коня
на опушке казак,
в трясине нас
выискать силясь;
и звезды у нас
грохотали в глазах,
когда они
с неба катились.

6

Кто мог бы понять,
что меж этих толстух,
в которых
я рифмой возился, —
с грозовых просторов
рязанский пастух
стрелой громовою
вонзился?

Что,
голову на руки облокотив,
совсем поблизости,
рядом,
весь пляж и весь мир —
партийный актив
суровым
меряет взглядом?
Кто мог бы узнать,
что не из берегов
выходит море рябое, —
что он,
перешедший через Перекоп,
сигнал —
крутого прибоя?
И я увидал
в расступившихся днях —
в глазах его,
грозных и синих, —
проросший сквозь нэп
строевой молодняк,
не только —
осенний осинник.

7

И вот —
он свердловцем,
а я рифмачом.
И моря —
нежна позолота.
Но мы не забудем
его
нипочем —
воронежского
болота.
Мы с ним не на пляже,
мы с ним — на ветру,
и дали —
тревожны и сини...

И я — запевала,
а он — политрук,
лежим в болотной трясине.
Но мы не сдадимся
на милость врага,
пощады его
не спросим.
В лицо нам — звезда,
светла и строга,
взошла
и глядит из-за просек.
И если так надо, —
под серым дождем,
как день ни суров
и ни труден, —
и ночи, и годы,
и дольше прождем,
пока
не избудем буден.

8

И только,
прижавшись к плечу плечом,
друг друга
обмерив глазом,
над верным вождем,
над Ильичем,
мы вспыхнем
и вспомним разом:
как на море буря,
мачтой маша,
до слез начинает
захлестывать,
как —
лирика это или душа —
бьет в борт
человечьего остова.
И море,
откликнувшееся на зов,

плеснет,
седо и клокато,
взгремит
от самых своих низов
до самых
крутых накатов.
И в клочья
разорвана тишина,
игравшая
в чет и нечет,
и в молнии —
снова земля зажжена,
и буря
и рвет и мечет!

1925

Красношейка

О Васейке
Красношейке
песня начата.
Барабан,
резвей забейся —
шаг наш рассчитай.
Мы спешим
веселым маршем
по тропе лесной.
Мы идем
на смену старшим
новою весной.
Пионер
Васейка Селин
первого звена —
жилка каждая
весельем
в нем напоена.
Образцовым
пионером
он уж целый год.
Красным галстуком
почетным
счастлив был и горд.

И резвиться
и трудиться
до семи потов,
шею мыть
и чистить зубы
он всегда готов.
На часах
стоял, как аист,
не боясь дождя.
Знал о деле
и о жизни
каждого вождя.
Он на лыжах
и в футболе
не был неуклюж.
На разведку
он без страха
шел в лесную глушь.
И во всем
он был примерным
удальцом — пока
не пришлось
отряду встретить
черного быка.
Этот бык
по кличке «Аспид»
грозен и угрюм.
Не затеешь
с ним в пятнашки
резвую игру.
Потрясая
долгим ревом
долы и луга,
нес он низко
и сурово
страшные рога.
И к Васейке
пионеру,
пересекши луг,

с бычьей
    мрачною манерой
бросился он вдруг.
    Туп и тяжек
под копытом
    разъяренный скок.
До леска
    домчать Васейка
не поспеет в срок!
    «Красный галстук!
Красный галстук! —
    закричал пастух. —
Брось на землю!
    Бык не любит
этаких вот штук!»
    Но позор
для пионера
    сдать почетный знак,
как бы близкая
    опасность
ни была грозна!
    И Васейка,
напрягая
    силы на бегу,
думал: «Нет!
    Я красный галстук
сбросить не могу.
    Это было б
униженьем
    для всего звена, —
после этого
    какая ж
будет нам цена?!»
    И когда
ему осталось
    хоть на землю лечь,
слыша грозное
    сопенье
сзади самых плеч,
    задыхаясь,

он заметил
у дороги — дуб...
Он к нему —
и к нижней ветви
прянул на ходу.
Сердце бьется
слишком шибко —
не подтянешь рук,
нету мочи
перекинуть
тело через сук.
Не трещи ты,
ветвь лесная,
до земли не гнись!
Горе бедному
парнишке
оглянуться вниз.
Там, копытом
землю роя,
раскачав рога,
ожидает
Красношейку
гнев и месть врага.
И от тяжести
слабея,
от тоски дрожа,
красный галстук
Красношейка
на груди зажал.
Но не бойтесь
за Васейку!
Он не одинок:
вкруг быка —
с боков и сзади —
топот быстрых ног.
Не таких
еще придется
им смирять скотов.
И на помощь
пионеру
каждый стать готов!

Тут такой
поднялся гомон,
топот, свист и крик,
что, поджавши хвост,
дрожащий
отступает бык.
Отовсюду
видя только
смелые глаза,
он, смущенный,
мелкой рысью
затрусил назад.
Что ж Васейка?
Он как будто
вовсе не герой.
Или бегают
герои
от быков порой?
Но рассказ
о Красношейке
много лет подряд
будет помнить
и в напевах
повторять отряд!
Как бы ни был
враг опасен —
помни об одном:
рдеет красная
повязка
на звене родном.
И какой бы
страшной тенью
не настигла жизнь —
подоспев,
помогут звенья.
Помни и держись!
Про Васейку
Красношейку
песня сложена.

Слава, слава
    пионерам
первого звена!
    Слава, слава
пионерам,
    молодым сердцам,
выходящим
    в жизнь — на смену
дедам и отцам!

1925

Сенька беспризорный

1

Травою сорной
растет беспризорный,
травою сорной
    на самом ветру.
От этакой рожи
мороз по коже;
мороз по коже
    жесток поутру.
Под сажей с грязью
узнаешь разве,
рассмотришь разве,
    какое лицо?
От грязи с сажей
идешь на сажень,
не видя серых
    глаз колесом.
«По Сеньке и шапка», —
    твердит поговорка;
а вот про штаны
    поговорок нет.
Без шапки — зябко,
    в опорках — горько,

но как без штанов
    показаться на свет?!
От этих штанов
    и пошла история...
Кто толк понимает
    в подобных вещах,
для этих голов
    рассказ ускорю я:
сгорели штаны
    у Сеньки Свища.
Кто в комнате спит
    на теплой постели,
тому никак
    не понять этих строк.
Поймет их лишь тот,
    чьи щеки синели,
на голой панели
    кто молча дрог.
Костер на углу
    Петровки с Кузнецким
горит, горит
    по морозным ночам...
Костер к себе манит
    блеском и треском:
спиной привалиться —
    спина горяча;
пока отойдет,
    прогреваешь спину,
одно за другим
    плечо, а потом,
когда коленки
    шибко остынут,
к огню поворачиваешь
    животом.
И так, постепенно
    теплом лелеем,
следишь восход
    по часам «буре»;
но сон ресницы
    залепит клеем,

и вот... штаны —
　　дыра на дыре.
Травою сорной
растет беспризорный,
травою сорной
　　на самом ветру.
От этакой рожи
мороз по коже;
жесток по коже
　　мороз поутру.

2

Заря по стенам
　　домов сползала.
Припущены Сенькой
　　пятки в пляс:
в двадцать минут
　　домчал до вокзала,
мышью юркнувши
　　в третий класс.
Там — вся шпана
　　кипяток хлебает,
Федька, да Мотька,
　　да Юрка Рахло.
«Нашему Сенечке
жарены семечки».
«Почтение с кисточкой».
　　«Честь да поклон».
Гудели домушники
　　парню на ухо:
«Эх, для стрельбы
　　и оголец же хорош!
Чего бережешь
　　голодное брюхо:
к ребрам прилипнет —
　　не отдерешь.
Неужто ходить
　　всю жизнь оборванцем!

Никто не поможет,
    кроме себя.
Если не хочешь
    шарить по карманцам,
стой на стреме
    для наших ребят».
Были бы у Сеньки
и сласти и деньги,
в новом Сенька
    ходил барахле б.
Но Сенькино ухо
к речам их глухо:
по-своему думал
    добыть себе хлеб.
В вечерней газете
    разные вести —
новые, свежие,
    теплые еще:
«Пожар в Светильно-
    калильном тресте».
«В Москву приезд
    дуракам запрещен».
Как буря он несся
    по тротуару,
вызванивал новости
    в дождь и снег;
рассовывал мигом
    свои экземпляры
и вновь — в экспедицию
    раньше всех.
Другим ребятам
    давал заголовки:
попроще, похлеще,
    позабористей.
Такой был быстрый,
    такой был ловкий,
такой был парень
    напористый!
Заря за зарей
    на стекла вползала...

Прожженной мелькая
с утра мотней,
Сенька, под стенкой
ютясь у вокзала,
по заголовкам
стал грамотный.

3

Чего ж не торгует
сегодня Сенька?
На хлеб зарабатывать
ленится?
Задумал он думу
четвертый день как:
сделаться юным
ленинцем!
Занозой в глаза ему
марш отряда;
не курят, не пьют,
не ругаются;
такая жизнь —
не жизнь, а отрада;
живут они,
как полагается.
У Сеньки нету
ни друга, ни брата;
с трех лет он —
щепкой ненужною;
а позавчера
его октябрята
стеной окружили
дружною.
Стеной окружили,
с двух слов задружили,
на Сенькину рвань
не фыркают;
о Сенькином деле
пчелой загудели,
штаны разглядели
с дыркою.

Разжался у Сеньки
кулак зажатый,
губами он дрогнул
суровыми,
когда отряда всего
вожатый
спослал за штанами
за новыми.
Пускай на улице
холод лютый —
у Сеньки брюки
на хлястике;
у Сеньки в глазах
октябрят салюты:
он учится той же
гимнастике.
Вот почему
не торгует Сенька;
в глазах его радость
пенится;
пытает, читает,
глазами летает
по «Памятке юного
ленинца».
Он больше не будет
вытачивать лясы
с застрельщиками
отпетыми:
он верен делу
рабочего класса,
что жив Ильича
заветами.
Он знает теперь,
в чем его польза;
глазами видит
лучистыми:
он — младший брат
всем комсомольцам,
во всем заодно
с коммунистами.

Он — враг богачам,
палачам и плетям,
из тьмы октябрятами
вырван.
Товарищ
рабочим, крестьянским детям
всего огромного
мира он.
Сам он, бродяжка,
знает, как тяжко
тем, кто
неорганизованы.
Пионер —
всем детям пример:
пусть поспешают
на зов они.
Построить будущей
жизни зданье
должен рабочий
на свой манер:
вот почему
к уменью и знанью
должен стремиться
пионер.
Это — законы
юных ленинцев;
они — как вехи
в буран на пути.
Кто их выучить
не поленится,
тот будет с Сенькой
в ногу идти.
А Сенька теперь
в одном из отрядов,
среди тысяч братьев своих
и сестер.
И сердце его
тепло и радо:
такой его греет
большой костер!

1926

Про заячью службу и про лисью дружбу

В день
одной кочерыжкой питаясь,
жил на свете
доверчивый заяц;
вислоухий,
глазища кроткие,
хвост,
как вербная почка,
приплющенный;
передние лапы
совсем короткие,
задние —
длинные-предлиннющие;
звали его Косой;
бегал он
вечно босой,
с поля
в рощу скитаясь;
одним словом —
доверчивый заяц.
Ходу от него
с полчаса
вырыла нору
лиса;
хитрая-прехитрющая,
жадная-прежаднющая;

хвост у нее
огненно-рыжий,
взгляд у нее
бесстыжий;
ела она
только мясо,
злобно любила
над всеми смеяться;
бегала по лесам,
нигде не имея друга;
одним словом —
лиса-хитрюга.
Дымчатою весною
сладко житье лесное.
Сладко —
только не всем...
Даже при чудной погоде
плохо,
когда к вам приходят
и говорят:
«А я тебя съем!»
Жизнь уж такая
у зайца:
вечно
страхом терзайся,
всюду —
челюстей щелк;
то в тебя
целит коршун,
то,
еще злей и горше,
за ухо
цапает волк.
Так и живет он в страхе!
Даже малые птахи
меньше
знают беды...
Близко враги,
нет ли, —
мечет всегда он петли
да заметает следы.

Раз лиса
на опушке,
видя,
как зайцевы ушки
мечутся
взад и вперед, —
с рожей
постной и кроткой
легкой
идет походкой,
в зубы —
ромашку берет;
грустный
принявши вид,
зайцу
так говорит:
«Нынешнею
весною
бросила я
мясное
для сохраненья зубов.
Хватит мне
и цветочков,
хватит мне
и листочков,
ягодок и грибов».
Зная
лисью замашку,
заяц
косит на ромашку,
не доверяя
лисе;
та же,
глаза сощуря,
в рыжей
сияет шкуре,
мирно на кочку присев,
и продолжает:
«Давай-ка,
крепко дружиться,
зайка,

чтоб не расстаться
вовек.
Взявши хворосту вязку,
мы смастерим коляску
с мягким сиденьем
в траве.
Ты —
меня станешь возить,
я —
всем врагам грозить;
ты —
уходить от беды,
я —
заметать следы:
чтобы ты
морковь и рис
без боязни
ел и грыз;
по бокам
столбы считая,
будешь мчаться
рысаком
и кричать:
— Я вас катаю,
не заботясь
ни о ком!»
Заяц
стал весел,
уши
развесил,
впрягся
в коляску,
пустился
в пляску.
А лисица —
дрянь какая! —
на сиденье развалясь,
знай лишь зайца понукает
через кочки,
через грязь:

«Скок-поскок,
не жалей носков,
поспешай,
извозчик,
скоро будет
дождик!»
Прыг да прыг,
скок да скок,
от усилий
заяц взмок;
от надсады,
от потуг
заяц бедный
весь в поту.
А лисица
смежила ресницы, —
ей куриная косточка
снится.
Заяц —
с поля
на лужок,
заяц —
с рыси
на шажок,
заяц —
к лиске
с жалобой:
«Покушать
не мешало бы!»
«Ах, мечтаешь ты
о рисе
да с изюминой
притом,
так прибавь
немножко рыси,
а не то
ожгу кнутом!
Вот с каким
морковоедом
спелась,
дура я из дур!

Мы и к утру
не доедем
до уснувших жирных кур».
Заяц снова
прыг да скок,
закололо
зайцу бок;
заяц скок,
заяц прыг,
захватило
зайцу дых;
заяц
на бок валится,
заяц
лиске жалится:
«Лапы слабы,
уши — глуше, —
не мешало бы
покушать!»
А лисица
смежила ресницы, —
ей утиная косточка
снится.
«Если хочешь ты
в рассадник,
шевелись
на лапах задних!
Чем скорей бы
ты довез,
тем вкусней бы
был овес.
А не то
за эту прыть
по спине
начну я крыть.
Эй,
рысак неторопливый,
берегись,
ожгу крапивой!
Уговор —
дороже денег:

поспешай вперед,
бездельник!»
Заяц прыг,
заяц скок,
заяц вовсе
сбился с ног;
заяц
вытянул губищу,
слезы —
градом по лицу.
Километров
чуть не тыщу
на себе
тащил лису.
Наконец
не стало силы:
еле жив
и еле цел,
натрудив
до боли жилы,
меж оглобель
он присел.
А лисица
смежила ресницы, —
ей гусиная косточка
снится.
Вдруг проснулась
на резинах,
зубы выщерила зло:
«Ах, бродяга,
ах, разиня!
Вот как мне
не повезло!
Ах, дубина,
ах, тихоня,
ах, лентюга,
ах, холоп!
Вот сейчас
тебя подгоним —
и пойдешь
опять в галоп!

Поклялась вчера я
к мясу
не притронуться губой,
но уж зайцу
насмеяться
не позволю
над собой!»
И, поднявшись
во весь рост,
листа зайца
цоп за хвост!
Заяц,
уши к спине прижав,
полетел
быстрее стрижа.
Мчится,
мчится,
мчится,
мчится,
страхом,
трепетом
гоним!..
Ведь лисица,
ох, лисица, —
лисья пасть
горит за ним!
В диком страхе,
в смертном горе,
без дороги,
без пути,
прямо к скалам,
прямо к морю
заяц кубарем катил.
Лисьей хитростью
озлоблен,
он под горку,
во весь дух,
кувырнулся
под оглобли, —
и лисица
в воду — бух!..

Расплылися у лисы
хвост,
и уши,
и усы...
А заяц —
серым комочком
назад от нее
по кочкам,
хоть очень измученный,
чуть не хромой,
а все-таки
кой-как доплелся домой.
К сожаленью,
из лисицы
не навариста уха,
и лисица
из водицы
все же выбралась суха.
Но с той поры
их дружба — врозь;
друг друга видят они
насквозь.
В день
одной кочерыжкой питаясь,
снова бродит
доверчивый заяц;
чутко косится
на леса,
где одна —
без единого друга,
легкой поступью
ходит лиса —
пренахальнейшая
хитрюга!

1927

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1-й том Собрания сочинений вошли стихотворения и поэмы 1910—1927 годов из следующих книг Николая Асеева и журналов:

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Ночная флейта, «Лирика», М. 1914.
2. Зор, «Лирень», М. 1914.
3. Леторей, «Лирень», М. 1915.
4. Четвертая книга стихов, «Лирень», М. 1916.
5. Оксана, «Центрифуга», М. 1916.
6. Бомба, «Дальневосточная трибуна», Владивосток, 1921.
7. Стальной соловей, Вхутемас, М. 1922.
8. Совет ветров, ГИЗ, М.-П. 1923.
9. Октябрьские песни, «Молодая гвардия», Л. 1925.
10. За рядом ряд, «Московский рабочий, М. 1925.
11. Изморозь, ГИЗ, М -Л. 1927.
12. Время лучших, «Московский рабочий», М. 1927.

ПОЭМЫ

1. Софрон на фронте, М. изд. Высшего военного редакционного совета, 1922.
2. Аржаной декрет, ГИЗ, М. 1922.

3. Буденный, «Красная новь», М. 1923.
4. Огонь, Собрание стихотворений, ГИЗ, М.-Л. 1928, том III.
5. «Черный принц», журн. «Леф», 1923, № 4.
6. Автобиография Москвы, Поэмы, ГИЗ, Л.-М. 1925.
7. Королева экрана, журн. «Русский современник», 1924, № 1.
8. Лирическое отступление, журн. «Леф», 1924, № 2.
9. Электриада, журн. «Молодая гвардия», 1924, № 4.
10. Двадцать шесть, Поэмы, ГИЗ, Л.-М. 1925.
11. Свердловская буря, «Громы о мрамор» (Стихи 1924—1925 гг.), «Пролетарий», Харьков, 1926.
12. Красношейка, «Красный журнал», 1925, № 1.
13 Сенька беспризорный, «Молодая гвардия», Л. 1926.
14. Про заячью службу и про лисью дружбу, ГИЗ, М.-Л. 1927.

СОДЕРЖАНИЕ

Леторей

(1915)

Четвертая книга стихов

(1916)

Оксана
(1916)

Бомба
(1921)

Стальной соловей

(1922)

Совет ветров
(1923)

Октябрьские песни
(1925)

За рядом ряд
(1925)

Изморозь
(1927)

Время лучших

(1927)

ПОЭМЫ

Асеев

Николай Николаевич

Собрание сочинений
том I

Редактор *Н. Крюков*

Художественный редактор
Ю. Васильев

Технический редактор
З. Евдокимова

Корректоры *Р. Пунга*
и *А. Юрьева*

Сдано в набор 31/I 1963 г. Подписано к печати 26/VII 1963 г. А 09.97
Бумага 84×108 1/32=14,25 печ. л. 23,37
усл. печ. л. 17,44 + 1 вкл. = 17,49
уч. изд. л. Тираж 27.000 экз.
Зак. 1301. Цена 1 р. 25 к.

Издательство художественной
литературы.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление целлюлозно бумажной и полиграфической промышленности. Типография № 1 „Печатный двор“
им. А. М. Горького. Ленинград,
Гатчинская, 26.

Отпечатано с матриц в Сортавальской
книжной типографии Министерства
культуры Карельской АССР
г. Сортавала, Карельская, 42

1 р. 25 к.